



**Москва
2007**

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С60

*В оформлении книги использованы фотографии
Сергея Соловьева из цикла «Juvenile Moon».*

Портрет Сергея Соловьева — работы Жанны Гумеровой.

Сергей Соловьев

ФРАГМЕНТЫ БЛИЗОСТИ

Соловьев, Сергей.

Фрагменты близости / Сергей Соловьев. — Москва:
СТС Пресс, 2007. — 336 с.

ISBN 978-5-0000-0000-0 (в пер.)

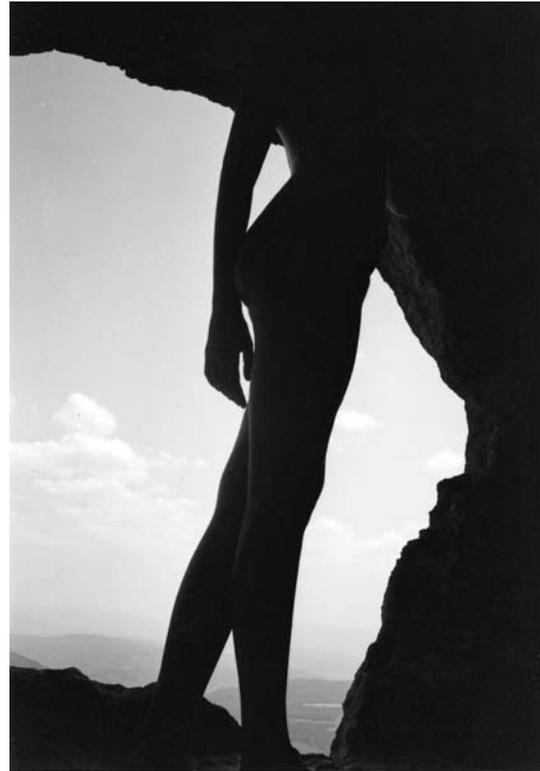
Сергей Соловьев — поэт, писатель, художник, лауреат Бунинской премии 2005 г., создатель метатеатра «Речевые ландшафты», один из наиболее ярких представителей литературы риска и изыска.

Новая книга стихов и прозы Сергея Соловьева — о тайне близости, которая, согласно автору, «по природе своей сторонится слов. Иначе — куклы на простынях, а бог в окно вышел. Исключения редки. В русской литературе в особенности».

Когда срastaются двое, один из них исчезает, — говорит одна из героинь книги — где-то в 38-м фрагменте, откуда можно и начинать чтение — в обе стороны.

© С. Соловьев, 2007
© ООО «СТС Пресс», 2007

I



ФРАГМЕНТ 1

Вначале все плыло перед глазами,
только чулок твоих патина,
легкий скользящий крест.
Ты приближалась, и марианская впадина
в моем животе стягивалась в эверест.
Эверест рушился в марианскую впадину,
это было — как глаз арест.
Больше я ничего не видел.
Выше — я не видел ничего.
Только рваное пламя твоих чулок.
Боже-правая, пусти мя в твою обитель
И аз упокою вы.
Прижималась к ней боже-левая
так, что между небесных ног,
дух мой стягивая в желобок,
ничего, кроме тока, не было.
Я бы поставил их в лучшем углу своей жизни:
хочешь бессмертья — только скоси глаза.
Полупрозрачность их радостней всех мировых истин.
В икрах твоих пузырьки поднимаются, как нарзан.
Их бы отрезать электропилой или лобзиком! —
я бы под мышкой носил их за далью даль.
Ноги в сознании моем трепетали, как лунные просеки,
когда я тебя проецировал в горизонталь.
Их уже невозможно было сравнивать ни с чем,
в голове не укладывалась ни геология их, ни география.
Ладно, что не с чем их сравнивать в мире вещей, —
невыносимей, что были они — как голография.
И руки мои с пустотою встречались за ними.

Я чистые силы молил, чтоб меня не оставили,
когда обрывался мой взгляд
на глубинном мерцающем нимбе,
где ноги, сливаясь, вращались в свое мироздание.
Я назвал это первой моей любовью,
отмежевываясь от верхней части
не как от куклы личности
и не из боязни,
а потому что остальное
было не более чем околичности.
Два золотых дыма,
празднующих свое свидание.
Ты-ба... ты-Бо... —
поддувал я их снизу вверх и так далее, и так талее...
Я не знаю, любовь ли это, или было у многих.
Ноги прошли, века...
Все, что я помню: Бог — это ноги. Мы — это ноги,
где не ступала нога...

ФРАГМЕНТ 2

Твоя походка неплохо смотрится,
у тебя меж ногами гуляет ветер.
Ты не похожа на дисциплинарную матрицу,
помнящую о смерти,
типа св. Варвары или Терешковой,
типа Кюхельбекера или Скловской-Кюри.
Ты — дисциплинарная матрица Южной школы —
Типа Шолом Алейхема минус Алишер Навои.
Я говорю тебе: уже написан Вертер, —
и снимаю с ресницы твоей стрекозу.
Ты не считаешь человека разминкой смерти
и сбрасываешь платье перед ergo sum.
Кожа твоя — цвета пленки на рыбьем жире,
ты окуливаешь себя травой;
стебли чуткие прядают на Кунашире,
и деревья на цыпочках обходят тебя стороной.
Ты — дисциплинарная матрица «+29»,
ты — температура падения алычи.
Когда я беру на руки твое библейское тело —
чувствую, как сквозь него преломляются лучи.
И язык твой у губ моих — как арбузная мякоть;
мякоть... сок... сахар... сон...
И в полях облетевшего черного мака
над тобой чуть дрожит указатель: *херсон*.

ФРАГМЕНТ 3

Мы ночуем на складе, где Мона Лиза
с подоконника смотрит на мохер и хурму.
Ты лежишь под знаменем лунатизма
и покусываешь бахрому.

Я принес тебе хлеб с маслом.
Съешь его как-нибудь.
Цель не имеет смысла,
важен путь.

В этих куцах отчизны я рад, что ты рядом,
что ты носишь оружие — звенящий шиш,
что лежишь на ящиках с денатуратом,
что, прижавшись ко мне, дрожишь,

что глаза твои — виноградины,
что ты волос ведешь к нулю,
что ты спишь, как изменник родины, —
я люблю тебя! Я тебя так люблю,

что мне кажется — я размножен,
и каждый хочет тебя одну,
и каждый рвется к тебе, как лошадь,
опережая других у губ.

Хляби разверзлись. Как жидкое олово.
Голос влекущий: «Иди!.. иди...»
Весь я в тебе уже, держишь за голову,
Юдифь!

...а наутро лежишь в дозоре,
цедишь цимес со дна «гымзы»
на язык, дурманыщий, как розарий.
Ты неперевода на другой язык.

Твоя речь похожа на лепрозорий.
Давай сформулируем твой закон:
третий день ты лежишь в зазоре
между жизнью и языком.

Я зубами скриплю, мне снится:
в белом лифе и галифе
между Джоулем тире Ленцем
ты распиливаешь тире.

Я бегу, я в поту — успеть бы!
Жизнь отращивает язык,
язык становится совершеннолетним:
половозрелость, борода, усы...

Темень. Свернутая, как улитка,
ты постигаешь азы семьи.
Твой путь дрожит, как язык змеи.
У змей — джокондовские улыбки.

ФРАГМЕНТ 4

В зарослях сада с травой воскуренья
выгнуты к югу сухие деревья.
Эти деревья сидят, как даосы,
тишь нарушают лишь полоз да осы.
Ты приближаешься медленно, будто
здесь между нами не воздух, а Будда.
Простоволосая и в оголеньи
ты опускаешься на колени.
Волосы льются и кутают камень,
ты упираешься в камень руками
и замираешь. Ты приняла морфий?
Ты в этой позе похожа на арфу,
белую арфу на тлеющем торфе.
Звон твоих струн осторожно раздвину,
ты улыбнешься светло и невинно
и размагнитишь ладонью округу:
в ней обнаружатся лес и овраги,
небо отпрянет и преобразится...
Как приземляется хищная птица
или как замерший взмах пианиста —
так твои руки над полем зависнут.
Это зовется «прощай, позвоночник!».
Как ты шутила нынешней ночью,
грудь щекоча мне: «Ты мой Секс Эмпирик!» —
и до утра ходуном ходил дворик.
Что ж, моя юная фурия, здравствуй!
Ты приготовила зелье и яства,
эрос и эпос да прочего малость.
Ближе! Уже я не слышу твой голос...
Медом янтарным фалуешь мой фаллос,
клюквенным соком дурманишь мой волос;
фаллос медвяный, клюквой омытый,
ты инкрустируешь белым бисквитом;
у основания положишь ты сласти,
а по краям — виноградные грозди,

и языком, чуть живым от ужимок,
приподнимаешь и дразнишь вершину,
воображая, как в сладостной щемии
бурный циклоп заползает в пещеру.
Жмурясь от буйного воображенья,
прядью щекочешь вулканическое жерло:
вздрагнет, качнется он влево и вправо, —
губ твоих жарких сомкнется оправа.
Сцилла с Харибдой, алчная амба!..
Но достаешь еще лавр и амбру:
лавр и амбру втираешь в ключицы,
мускусом — ямочки на ягодицах.
Фаллос взвывается, как литье из лимана, —
губы скользнут и увязнут в медвяном,
гулом наполнит и вывернет уши,
но погружаясь все ниже, все туже, —
губы войдут в виноградные грозди,
фаллос забьется в пружинистом росте,
будто на цыпочках корчась и млея,
в жарком дыханьи твоём столбенея.
Встанешь, плеснешь из бутылки «кагором»:
ах как он валится тупо, как боров.

ФРАГМЕНТ 5

Твоя спальня обтянута темно-вишневым велюром.
Ты сидишь на полу, ты сегодня — глазок ювелира.
Твое тело прозрачно и пальцам моим неподвластно.
Горяча и тягуче-ветвиста стеклянная масса.
Ты — орудье труда, а зеркально — священная жертва.
Контражуром навел на тебя я напольный прожектор.
Ты горишь по краям, как замочная щель.
Ты — глазок неопита.
Я к тебе подобрал бирюзовый и ультрамариновый фильтр.
Утопая в тенях, ты качнулась назад и застыла.
Твоя роль — восходящий эфир. Ты легка и пустынна.
В твоей выгнутой шее под тонкой небесною пленкой
только жилка дрожит, как заело секундную стрелку.
Вокруг шеи твоей, не дыша, оберну полотенце.
Легкий ток заискрится в моих индевеющих пальцах.
Я продену их в кольца садовых заржавленных ножниц:
это икс, удлиняющий руку, он движется, множась,
это битва ножей — то отпрянут, то сходятся в клинче,
то — хрипенье и лязг, то — прильнувши —
щебечут по-птичьи.
Я беру со стола костяной допотопнейший гребень.
Приближаясь к тебе, я гляжу на часы, я цежу твое время.
Полночь бьет. И под каждый удар от тебя отделяются пряди:
ты в кольчуге волос — твоя шея, спина, твои плечи и груди.
Твоя роль — послушанье. Ты ноги поджала. И губы. И годы.
Из-за всех плинтусов в кулачки свои прыщут,
на цыпочки встав, квазимоды.
Саблезубый храбрец на нас прет, хохоча,
и пердит в упоеньи атаки.
И с мизинца ноги утащив твою прядь, замирает
в объятьях ватаги.
Но теперь уже все, пригибаясь,
бегут под прикрытием пряди на приступ.
Улюлюканье, лестницы, дым...
Эту роль назовем приращением смысла.

Они влезли на голову, труд их бурлит,
они вяжут интриги и шашни.
Ты в короне сидишь, на твоей голове — из фольги
три дрожащие башни.
Я в огромной пиале развел нашатырь
вместе с перекисью водорода;
с гомерическим хохотом в пену летит
саблезубый храбрец-воевода.
И пока остальные трясут кулачки над собой
от смертельной обиды,
я над белой фольгой зажигаю пучки
золотым «блондораном-ликвидом».
Я обвел твои формы каймой серебра,
а за ухом довел до юродства.
Только челку твою благородная хна оттеняет
надменным злорадством.
Упыри уползают, ропща на юдоль.
Твой пробор углубляю я басмой.
Наконец, я даю тебе грим:
твоя роль — арлекин в косметической маске.
И пока я готовлю последнюю смесь,
обретая библейскую силу, —
изо всех пузырьков я сливаю туда все,
что ты не долила, Далила.
Тридцать лет миновало с тех пор.
Твои губы, как прежде, душисты.
Я узнал тебя, дева! Теперь твоя роль — подо мной.
А моя — реваншиста.

ФРАГМЕНТ 6

это узкая улочка в теле твоём,
это выход в астрал через спуск и подъем,
это трепет томленья, улики лакун,
это в терпкой ворсе чернослив и лукум,
это сонмы очнувшихся ангелов: «пить!»,
это кислый кизил, увлажняющий путь,
это южная ночь, это лунная течь,
это каплющий воск на затылок со свеч,
это воск, затекающий в грудь и стопу,
это нож в животе, это жаркий стамбул,
это мир шпионажа, парад двойников,
это жмурки ужимок и цокот подков,
это спазмы соблазна, испуга и сна,
это тмин, и корица, и хвоя, и хна,
это гул механизма на выдох и вдох,
это в солнечных брызгах пульсирует мох,
это поршень, качающий пламя из пор;
через ноздри отводится кольцами пар,
это кузница уз, это козней разгул,
это праздник гримас, это лаз-вельзевул,
это стоны кувалд и кикиморный смех
ледяных молоточков с оглядкой на мех;
вдох — и прынут, и вскрикнут от жара меха,
и ангел забьется на гребне греха!

ФРАГМЕНТ 7

Троеточье. Задуи свечу.
С новой строчки, абзац: ... и рушась.
Полночь, волны, ни зги, но — чу:
...подкрадывалась к берегу
и, рушась,
закусывала губы и, как шторм,
накрывши с головой, влекла в глубины.
Мне не хватало крыльев голубиных!..
Твое лицо похоже ни на что.
И речью не настичь тебя. Недаром
двоился пред тобою каждый слог.
О царственное зренье Буридана,
не будь ослом,
остынь!

Дзыннь...

Покачивается
Авессалом.

ФРАГМЕНТ 8

Открытое множество:
каждая точка для остальных
является внутренней.
Шар между нами незримый.
Воздух сочится. Чувствуешь, как убывает.
Шпильку сжимаешь губами.
Где? —
шарю во тьме, будто пытаюсь к тебе дотянуться.
Пальца подушечку смочишь слюною, приблизишь:
вот, здесь.
Вдох, как подергиванье лески, зацепившейся за
твой. Зеркально.
Будет тебе, конькобежка!
У меня клев тяжелый, как ключ разводной,
и гудит, и глаза золотые.
То-то! Тонко ледок. Коготки поджимаешь.
Только нутрии точек снуют (расставь запятые).
Сдуй со льда их на вираже,
Заведя руку за спину, подбородок прижавши к плечу,
сдуй, как ластик сдувают с листа. Это множество,
тур «бесконечность», ты ластишься,
в двери скребешься с обеих сторон.
В каждой точке есть форточка.
И сквозняк полыньи.
Паутинка дрожит.

ФРАГМЕНТ 9

Когда ты разглядываешь меня, как контурную карту,
или играешь на мне, как на гитаре, —
я шепчу в твои волосы слова Декарта:
cogito est cogito me cogitare.

То есть наше сознание есть самосознание.
Пальцы твои берут «ми» на моей шее.
Мы встречаемся с тобой глазами.
Но это не повод выяснять отношения.

Потому что в моем зрачке — твое отраженье.
А ты никогда ведь не была крохобором.
Нервничаешь, хорошея.
Это чувствуется по игре перебором.

Казалось бы, что здесь такого?
Мы есть то, в чем мы отражаемся:
влага, трещина, Иегова...
Опусти жалюзи.

Осы, воздух, все то, что тебе приснится —
постольку, поскольку способно в тебе отражаться.
Ты переворачиваешь меня как страницу
и прижимаешься ухом ко второму абзацу.

«Что там?» — спрашиваю тебя. «Крошка, —
ты говоришь, — Цахес. — И, обнимая:
Можно?..» —
«Майя, —

говорю, — где ты?»

ФРАГМЕНТ 10

Ты перламутровый кладешь на ногти лак.
На пальцах твоих — перстни дорогие.
И — руки вытянув — ты бродишь, мира мрак
пытаюсь опознать на ощупь — ,
как Саломея девственность Марии.

А я в глухом углу лежу на топчане:
иудо-вольствие, — шепчу, — иудо-стоверенье, —
следа, как ты, подобная пчеле,
дрожишь на цыпочках, зависши над вареньем

густым в шербатым блюдечке. Ау, —
зову тебя. Сквозь призрак пеньюара
мерцает млечный путь. Твой ум
отсутствует, ввиду наличья дара

мерцания. Хоть верится с трудом,
что ты не снишься мне, когда я вижу,
как между копчиком и шейным позвонком
текут друг к другу Кундалини с Вишну.

И вздрагиваешь ты, поймавши взгляд
спиной, и шепчешь, озираясь:
«Тревожно мне, я чувствую — Марат
в крови...» — и к зеркалу подходишь. Аист

из зеркала выходит...

ФРАГМЕНТ 11

Во фразе Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
есть два вагона и локомотив.
В перспективе сводит их к нулю
горящий стоп-сигналами мотив.

Во фразе Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ —
два тормозка, чтоб дух перевести:
или со сцепки спрыгнуть на ходу,
или остаться в виде травести.

Скажу иначе: Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ —
как ветер, пробежавший по траве,
из точки Я перемещаясь в Ю.
Но дело не в смешении кровей,

а в том опустошеньи, что влечет
любое сочлененье. Скажем, *путь*.
Или *бикфордов шнур*. Или *плечом к плечу*.
Уж лучше: Я (пробелы) ТЫ (пробел) ЛЮБИТЬ —

— пробел, пробелпробел — и сдуть
рой запятых над лезвием ножа,
не дать тебе склониться, соскользнуть
не дать тебе (пробел) по падежам,

по лицам, числам, временам, и нить
не втягивать в хрипящий мел.
Как подлежащее тебя осуществить
(пробел),

сорвать с тебя мундир и разметать
предлоги рук (пробел), и прилагать
союзы губ, и пить глаголы тел,
ЛЮЯ ТЕЯ БЕБЛЮ ЯЛТЕЛЬ!

ФРАГМЕНТ 12

Каждый вечер принцесса поднималась на высокую башню и глядела вдаль, мечтая о принце. Принца не звали никак, потому что никто его еще ни разу не звал. Сидел он на краю облака, свесив ноги, смотрел на проплывавшие под ним королевства и мечтал о принцессе. И вот однажды он увидел ее — такую нежную, худенькую, родную, что ему стало страшно от одной только мысли, что он сможет приблизиться к ней, заговорить...

Превращусь-ка я в зеркальце, решил принц, лягу рядом с ее рукой, а там — видно будет.

Опустила глаза принцесса, смотрит — зеркальце, поднесла к губам, дохнула; затуманилось зеркальце, зажмурился принц, закружилась его голова от теплого ее дыханья, от щекочущей пряди ее волос.

Вот оно, счастье, шептал он, пока принцесса, вынув батистовый платок, протирала запотевшее зеркальце, и, протерев, взглянула и увидела в нем — себя, и улыбнулась — себе, и, отвернувшись, вздохнула, глядя вдаль на темнеющие облака.

Я здесь, я здесь, шептал он, все сильнее вжимаясь в ее ладонь, чувствуешь? Она вскрикнула, поранившись, и выронила зеркальце.

Дурная примета, сказала принцесса, спустилась во дворец и в ожидании принца незаметно состарилась и умерла.

ФРАГМЕНТ 13

— И взял он бумагу и скомкал ее. Вот так.

— А потом ты говорила: *скрытая гармония сильнее явной*.

— И, значит, скомкал ее и привязал к ней нитку. Вот таким манером.

— А еще сказала, что *в логике есть некая пошловатость самодовольного рассудка*.

— Ну и, естественно, стал подергивать нить: вниз-вверх, туда-сюда.

— Потом задумалась, и вдруг: *прекрасное — лишь то, что разумно, а разумно — лишь то, что имеет смысл*. И совсем затихла.

— И, вероятно, это действительно было похоже на мышку, иначе б ты не следил за нею из укрытия с таким напряжением.

— А потом сказала, что *жизнь — это трагическое художественное произведение*.

— И не кидался на нее стремглав. Или же, выгнув спину, задрав хвост, шипя, не подбирался к ней как-то боком, с остекленевшим взглядом.

— И, приподняв отяжелевшую голову, одними губами: *Элои, Элои, лама самахвани!* Это было сильно сказано.

— Если бы ты увидел настоящую мышку, ты бы бросил эту, на нитке. Скажешь — нет?

— А затем взяла палочку и нарисовала на песке круг: *Вот Бог. А человек — вписанный в него многоугольник. И чем больше у него граней, тем ближе он...* Это было уже не так сильно.

— Но самое интересное в том, что движения этой, на нитке, были куда более разнообразны и прихотливы, чем у настоящей, будь она на ее месте.

— И вдруг увидела звездное небо над головой, что-то кольнуло под ложечкой. А потом — чего только не говорила...

— И, главное, среди этих движений были такие — помнишь? — какие невозможны в опыте с натуральной мышью. Именно тогда ты и вздувал спину, ломя хвост.

— А теперь говорит: *жили-были три слова: я, тебя, люблю. А потом они поженились — каждое на себе*.

ФРАГМЕНТ 13.1

— Глаголить, лгать, ложь, предложение, предлагать, предлог, — бегло продолжал я.

— Л-г, г-л, — подхватывала, заходясь от смеха. — Жжжжж, — разводила руки, как для полета.

— По правде говоря, по совести говоря, говоря по существу, — не унимался я.

— Unglaublich! — взвизгивала она, подхрюкивая помолодецки.

— Вроде бы, как бы, словно, как будто...

— Буцім-то! — прыскала она и, гогоча, заваливалась на бок.

— Як-як? Wiederholen, bitte, — крепясь из последних, переспрашивал я.

— Бу-цім-то, — передергивалась она, будто дожевывала лимон.

— Так сказать, иными словами, то есть, скажем, в смысле, подразумеваемая, не говоря уж... — загибал я пальцы.

Не в силах продолжать от душившего ее смеха, она лишь отмахивалась руками.

— Истинно, истинно говорю вам: имеющий уши да услышит, — сказал, подняв правую вверх.

Она дотянулась до носового платка, надсадно высморкалась и, вдруг преобразившись, тихо произнесла: «Какой кошмар!» И вышла.

Хлопнула парадная дверь. Я выглянул в окно: она неслась по улице, приподняв и оттянув юбку сзади, как страус. И скрылась за углом Keiser Strasse.

ФРАГМЕНТ 13.2

— Видимо, есть какая-то жаднососушая щель между нами... межнамье. В каждом слове твоём — как оглядка Орфея.

— А сны? — сказала, поднося меня к свету и, прищурив глаз, долго глядела куда-то сквозь меня, как сквозь куриного бога.

ФРАГМЕНТ 13.3

Мы так и стояли там, не меняя поз, пока не зазвенел телефон и ты не прошептала почти без голоса, как щеко-чут травинкой: «Милый, я поживу у соседей. Не выходи из меня». И повесила трубку.

Как — у соседей? У каких соседей?

Целый день мы были встревожены.

ФРАГМЕНТ 13.4

Они лежали в полутьме, на широкой кровати, спиной друг к другу. У приоткрытой двери стояла витиеватая вешалка, на которой чернел тяжелый брезентовый плащ. На столе — чучело птицы, рядом — камзол и парик. На стенах висело оружие. Это был гулкий старинный замок на берегу озера, в котором к утру таяли звезды и проступали Альпы.

Ей не спалось, она ворочалась, то прижимаясь к нему, то отворачиваясь, но тут же находя его под простыней своей маленькой теплой пяткой. И, наконец, не выдержав и включив свет: *это ты?*

Он, улыбаясь, еще сильнее зажмурился. Она с ним, она снова рядом.

Зашелестели страницы.

— С каких это пор ты стала читать словари? — спросил, не открывая глаз.

— Вот, — сказала, — смотри: *Dichtung*, существительное, женского рода. 1. Уплотнение, прокладка. 2. Конопачение (например, лодки). *Dichtung*, второе значение. 1. Поэзия, поэтическое произведение. 2. Фантазия, вымысел, выдумка. *Dichtung und Wahrheit* — поэзия и правда. Ты слышишь меня?

Он повернулся к ней:

— А глагол? — И, исчезая под простыней, прижался к ее животу.

— *Dichten* — уплотнять, закупоривать, конопатить, заделывать.

— Заделывать — что? — донеслось из-под простыни. Ему нравилось, как напрягался ее живот, когда она производила длинный период.

— Течь, — кратко ответила она, и щеку его чуть подбросило. — *Dichten*, — продолжила она, — второе значение: сочинять, творить, создавать, выдумывать, — понял?

— А я люблю в тебе переулочки, — сказал он, помолчав. — Хорошо звучит: переулочки речи. А лучше — окра-

ины. — Он дотянулся до ямки у ее бедра и приник губами. — Я понял. Бочка по морю плывет. Конопатить. Тучка по небу идет. Заделывать брешь. — И, скользя щекою по ее животу, продолжал: — Мир это брешь, это течь, это... Что есть обратное плотности, густоте? Жизнь?

— Правда, — прошептала она, уворачиваясь от его губ. — Здесь шекотно!

— Правда, — повторил он, ведя мизинцем по кромке ее губ. — Заделывать течь, ставить прокладку. В английском этого нет. А в русском? — Он на минуту задумался, она тербила его палец языком, слегка покусывая. — Чин, чинить, учинять, сочинять, причина!

Она встала, подошла к окну, раздвинула занавески.

— Начало, — выдохнул он, глядя, как она, взметнув руки и запрокинув лицо, кружит по комнате.

Я тихо прикрыла дверь.

ФРАГМЕНТ 14

На рассвете, после дождя, в саду
я увидел двух бурых бездомных улиток:
под занесенной в шаг ступней
они неподвижно лежали
лицом к лицу,
чуть касаясь друг друга
клейкими рожками.
Второпях, пересекая поле,
я собрал тебе букетик цикория,
укорачивая, уже в электричке,
его крепкие жилистые стебли
зубами. Поглядывая на часы,
ты стояла у городской ратуши.
На фоне ее тщательного кошмара,
ее пучеглазых чудищ,
вьющихся по фасадам, —
голые твои веселые коленки
из-под легкой весенней юбки,
задираемой ветерком. Ты сказала:
— Ну сколько можно! —
и прижалась ко мне, подрагивая.
Расстояние между улитками
к вечеру сократилось
еще на полмиллиметра или
чуть больше. В луче фонаря
клейкие рожки разъединились.
Фауст и Гретхен.

ФРАГМЕНТ 15

Сорняки новостей.
Здрасьте, аленькие!
Снасти Насти везде.
Глаз-еще-поплавок.
Снись, улыбка, большая и маленькая.
Занемог,
захандрил гамадрил.
Ты, маленькая, мне на что?
Лети, девочка-плавочки,
я тебя не люблюд.
Ни за ямочки, ни за дрючки твои,
ни за шторм.
Люд вербальный — верблюд.
С буквой у.
Ну и корм, —
говоришь ты, жуя колючки
жи, чи, ши.
И, особенно, *нигугу*.
Там, за мысом.
Почеши, —
говорю, — мой лучистый горб:
творога я
дам тебе, дорогая,
и кумыса...

ФРАГМЕНТ 15.1

Зачем Господь висел, как вертолет,
и бездну вод рябил?
Почто боярыню обидел?

Зачем прямая речь косит?

И почему луна?
Печально.

ФРАГМЕНТ 16

Подплывем ближе. Книга перелистывается на ветру, полог палатки, ютящейся в глубине бухты, откидывается: девочка, сидя в проеме, спросонок глядит на восходящее солнце.

Губы ее приоткрыты, голова чуть покачивается, как бы убаюкивая себя-его.

Беатриче. Идет по камешкам к морю, держась за луч, балансируя меж землею и небом, вся — проводок оголенный, тринадцать с половиной вольт, с искоркою сережки, сверк золотом — обернулась на близящийся топоток пятиногий катящихся по желобу камней.

Запрокидывает голову, видит его сквозь чаечный росчерк, съезжающего по осыпи в клубах пыли, с корявым бревном в обхват.

Она машет ему рукой, он ей кричит и машет бревном: в нишу, в нишу прячься! Камни уже бегут по пляжу, рыщут, стуча зубами.

В трухе бревна, под корой, туча кипящая муравьев: рыжие, все в шлемах с поднятыми забралами, легионеры, рать за ратью вышагивают их бревна, о Рим, труха империи, разгул упадка! Где египтяне, чернь где, где пирамиды? Бревно, цилиндр, свиток. Латунь латыни. Рим рыжих.

Он дует в уголь — тигль; тигр ворочается в теплом пепле, лизнул лицо, дымком расплелся, затих, прижавши уши — взвился.

Она стоит на валуне у моря с зеркальцем и чешет лохмы охры. На шаре девочка в зернистой дрожи зноя. Земля кренится, и девочка, как мед прозрачный майский, течет, перетекая в зыбку моря, плывет, и дно под ней — разломленные сливы...

А он все крошит свиток муравьиный и предает огню, в дыму танцуя, поет и трет глаза, и дует в горящий город, Нерон, Иродиада, суп вскипает.

Два голых тела, блаженные, сидят, едят. Пыхтят дельфины, пасутся, щиплют море, пыхтят сквозь третий глаз.

Он снова с книгой. Отчеркивает: «Что такое для человека его Исаак, это каждый решает сам для себя», Киркегард, волнистой.

Пойди спроси, не дочь ли она ему? О барашки морские, правоверные... До инцеста всем далеко!

Всю ночь они, лежа как две эмбриональные буквы S, синхронно переворачиваются с боку на бок. Наутро он отчеркивает: «Грех есть обморок свободы».

И ниже, там же: «Девяти месяцев, проведенных в утробе матери, было достаточно, чтобы сделать из меня старика».

Расстиляет на берегу полиэтиленовый мешок два на полтора метра, она вползает в него, расправляя по углам, он кропит мешок морской водой, она зябко передергивает плечами, то ли морщится, то ли смеется, поджимает к животу колени, он грозит ей пальцем, возвращает в прежнее положение, она, дразня его, барахтается в мешке, он снова откладывает фотоаппарат.

Они стоят на валуне, торчащем из моря. Она — в трепещущем на ветру мешке, узорчатом, капельно-пенном. Он фотографирует ее с нижнего уступа, на просвет, контр-ажуром, так, что голова ее затмевает солнце, горящее, как нимб в ночи, над ее раскинутыми руками.

Поштармливает. Небо, бычась, роет море, рвет пену, прет пыль брызг. И, вдруг обмякнув, отходит, помахивая хвостом.

Они сидят на гальке в свитерах, лицом друг к другу, с развевающимися волосами, широко разведя колени, придерживая свободной рукой стоящий меж ними котелок.

Голая женщина, думает он, глядя на нее, — как глаз без век.

Она протягивает к нему ладонь, он кладет в нее чесночную дольку.

Адам согрешил с Евой после того, как она оперилась.

Как ты думаешь, спрашивает он ее... Но она уже у воды, не слышит, танцует, пытаюсь подступиться к морю, заерпнуть его котелком.

Волны уж с нее ростом, пубертатные, да растут быстрее, наливаясь, валясь в пену.

На камне, метрах в пятнадцати от него — пара чаек: гнутся на ветру, вскрикивая. Он прислушивается, примериваясь к их голосу. Кошачий с собачьим? Пробует звук. Еще. Так проходит около часа. Они приглядываются к нему. Он продолжает.

Одна из чаек, опустив голову и вытянув шею, клопочет ему в лицо. Он отвечает ей тем же, затем на другой манер — аритмичными всплесками. Она срывается с камня и, приземлившись у его ног, вторит ему. Он встает, уходит.

Девочка смотрит на него, как вдаль, чуть наклонив голову.

Он обнимает ее, прижимая к груди.

Они приваливают грузными валунами рвущиеся из рук края палатки, укрепляют веревки, вползают внутрь, задраивают полог, затепливают лучину в консервной банке.

Волны, врываясь в бухту и громоздясь друг на друга, валятся, как бурелом, откатываясь и подступая все ближе.

ФРАГМЕНТ 17

Годы скользят — плавунцы-водомеры. Ни облачка в небе, девичье, пупок с колечком — сверкунцом золотым.

Удил сегодня — женщино! Вышло на сушу, дуру, вымерло.

Нет Ж. Жесть, ожесточенщина.

Ласки маленькие, куньи, длиной от 11 до 28 см, пространство повсеместное. Говеем.

Помнишь, у попа была собака? Разговелась, скотоложница.

Ж. нет, лю нет, мя нет. Что, б., есть?

Мокрицы, колченоженьки, семейство семенящих, о щемь!

О пост indefinite женьшеньщин!

День в ночь пострижен.

Вода — как дрожь в колене.

Наживлен ты, но жив ли?

К утру отпустит, стерпится, не слюбится.

Печаль в начале, густоброва.

Море с лодочкой-заколкой, вынь ее — и рассыплется вся копна.

Пойду прилягу.

ФРАГМЕНТ 18

Ты помнишь, был воздух настоян на йоде
заката с прививкою красной,
и трепет бежал по реке,
и вся ты — как стая фламинго на взлете,
и время с заминкой пространства,
как с ямочкой на щеке...

ФРАГМЕНТ 19

Наживкой для лова белых единорогов являются, как
известно, девственницы.

Простоволосую отроковицу наживляют на росное поле
в предутренней дымке. Она лежит на спине, разметав руки
в восходящих потоках своих сновидений.

Он приближается, сводя глаза на мушке своего певче-
го рога и, опускаясь на колени, кладет свою белую влаж-
ную голову, весь тягучий ее меловой период на подрагива-
ющие, туго сведенные лебязьи крылья ее бедер, и зашел-
кивает свой горящий конфорочный глаз.

ФРАГМЕНТ 20

Я докурю на балконе,
спи. Тебе снятся левкои
и счастьем гудящая самка,
как дымчато-сизый графин,
лежащий в траве, но осанку
хранящий, пока парафин,
отягощая брюшко,
жгучий, течет сквозь ушко.
Выгнулась в виде яти
и, с хриловатым смешком
пяткой раздвинув репей,
вдруг отсекает не глядя
голову льнущего к ней
лакомки-богомла;
тот, ковульсивно еще смеясь
и оседая, зеленый, голый,
встречает свой звездный час.
Она целует его в уста
и, выползая из-под куста,
оглядывается: небосвод тихий,
только на тонком нерве
вокруг Юдифи
вращается небольшая
мигающая звезда
Олоферна.

Спи, моя милая,
свет, наверно,
тебе мешает.

ФРАГМЕНТ 21

Робко,
постскриптумом,
пока гроза не... —
тропка,
поскрипывая,
с бедра сползает.

Странно,
уже ноябрь,
дождь в окно.
Опустошенные страны
губ твоих я бы
на ощупь... Но —
где вы?

Время шуршит шелками,
ветер знобит фрамугу.
Девы
меж облаками
летят к югу.

Видишь: рука
твоя, а пальцы на ней мои
по стене скребут.
Превращается в старика
воздух, и
его глаз корунд
струйкой сыплется.
Значит, сон
в руку.
Не насытится колесо
кругом.

Край, где был мед
воевод, —

гол. Оса
моих губ сосет
юнь твоего
голоса.

И — никаких волн.
Колдун
отряхивается внимательно.
Стоит холм,
лбом ко лбу,
спиной к наблюдателю.

ФРАГМЕНТ 22

Но не удержать за хвост ящерицу, настоящерицу, эвридику.

А змеи из кожи вон лезут, сипя пастью, в небо кругля губы, в очках солнцезащитных.

А потом на пнях и сучьях — капроновые чулки их, черновики в стрелках, нрзб., ушли ножки, стекли голые, как ручейки.

И ангелы гулками каплями падают с неба, как пластмасса горящая.

И дети встречным потоком восходят: то — как мешочки с теплой золой, то — на просвет, все в водяных знаках.

ФРАГМЕНТ 23

Золотой, серебристый, воздушный,
южный, дикий, сухой колорит.
Птица мечется в крыльях ей чуждых
и, теряя сознание, парит.
Отражаясь в осеннем лимане,
небо в буклях стоит. Без погон
путь бежит от себя. Привлекает внимание
торопливо задернутый фон:
выбор веры, судьбы и оружия,
положенья и времени лиц;
богомол, одинокий хорунжий,
в хороводе змеиных колец.
Разжимаются пальцев фаланги
узловатые, сыплется медь,
и сплетаются две лесбиянки
длинноногие — жизнь и смерть.

ФРАГМЕНТ 24

...Ж. реальная. Вот что он пишет: «...в половом акте раскрывается все бытие женщин, раскрывается в высшей своей мощи. Поэтому здесь резче всего сказывается разница между матерью и куртизанкой.

Для матери половой акт — начало целому ряду явлений; куртизанка же ищет в нем своего конца. Крик матери поэтому короткий, крик куртизанки — затяжной».

Таким образом, Варел, мы видим перед собой горизонтальную прямую с явно выраженными границами, т.е. отрезок М—К, именуемый эйдосом Ж, в котором реальное Ж представлено в виде гирьки, скользящей от деления к делению в ту или иную сторону, в зависимости от того, *что* стоит на весах.

А что, перпендикулярное ей, стоит на весах? М, мужчина.

Мера она ему, вера ль? Что ж он так тяготеет к той точке псевдобаланса, к тому обмиранию мига псевдо-в-за-имности, со-в-местности — с чем? — с полостью мира, еще безымянной, имя взыскующей от него, от ребра, от дательного-именительного падежа к родительному, к Еве, к жизни, поставленной на ребро меж двух миров — орла и решки.

Что ищет она, скользая меж делений, на ребре танцующая? Имя? Валентность? Так ли?

«Я не решаюсь судить, — говорит Сократ, — даже тогда, когда к единице прибавляют единицу, — то ли единица, к которой прибавили другую, стала двумя, то ли прибавляемая единица и та, к которой прибавляют, вместе становятся двумя через прибавление одной к другой.

Пока каждая из них была отдельно от другой, каждая оставалась единицей, и двух тогда не существовало, но вот они сблизились, и я спрашиваю себя: в этом ли именно причина возникновения двух — в том, что произошла встреча, вызванная взаимным сближением?

И если кто разделяет единицу, я не могу больше верить, что двойка появляется именно по этой причине — через

разделение, ибо тогда причина будет как раз противоположной».

Что здесь делитель и что делимое? И то и другое — М, мужчина?

А что же тогда Ж? Знак деления внутри самого М? Признак его раздвоенности на это и то? Его ребро, вытесненное?

Так, Варел, Акварел, она — твоя вытесненная акварельность. Фантом вытесненного тобой Ничто. Не знающий ни «я», ни «ты», лоскут родства не помнящей, тобой кроимой, кровной бездны.

Река в груди, Варел, река в реке, как уж против течения вьется, с места не сходя, как муж, м-ж, двойной спиралью ДНК.

И дважды в женщину, как в акву, не войти: войдя однажды, уж сухим не выйти.

Ты скажешь: нет ее, одной и той же.

Я добавлю: вовсе нет. Ни женщины, ни аквы, ни течения. Песок, и вьющийся по этому песку — ужом песок.

Ж мира — мираЖ, валгалла влаги, валгалище м-ужей. Кому/чему уж здесь альтернатива? Читай. «Женщина испытывает ощущение полового акта всегда, везде, во всем теле и от всех вещей». И ниже: «Белая женщина, имевшая раз ребенка от негра, впоследствии может родить ребенка от белого мужчины с ясными признаками негритянской расы. Когда растение оплодотворяется несоответствующей пылью, то изменение претерпевают не только семена, но и материнская ткань...»

Далее он переходит к телегонию, то есть оплодотворению на расстоянии, или, говоря иначе, ксениям, подаркам за гостеприимство:

«Взгляда или слова порой достаточно, чтобы женщина почувствовала себя в полном обладании у мужчины. <...> Существо, которое проделывает половой акт между и со всеми вещами, может быть оплодотворено где угодно и всеми вещами».

В этом смысле, друг, Леда не так уж и далека, как ни кощунственно это звучит, от Марии. Или Даная — от Майи.

Лебедь ли нижеет ее или перст Божий, дождь ли золотой или слоны раздвигают ей ребра: «между и со всеми вещами». Ж междуречья.

М-жду-речь-я-Ж. К двадцати трем годам. Тебе сколько, Варел? Возраст бабьего лета, время схождения в ад и восхождения оттуда — куда? К Беатриче?

Возраст души, расстающейся с телом: срок. Время обнимать и уклоняться от объятий — одновременно.

«До тех пор я кое-что знал ясно, — продолжает Сократ, — так казалось и мне самому, и остальным, а теперь из-за этих исследований я окончательно ослеп и утратил даже то знание, что имел прежде, например, среди прочего перестал понимать, почему человек растет».

Знаешь ли ты, что такое гетерогаметность? Генетическая неравноценность половых клеток. Так вот, у человека и млекопитающих гетерогаметен мужской пол, а у бабочек, птиц и змей — женский.

ФРАГМЕНТ 25

У него есть дочь.
Не совсем, — он думает. — Насовсем.
Ее мать позвонила в дверь его, когда той было семь.
И смотрела с прищуром, как девочка,
взобравшись ему на колени и взяв в кулачок его нос,
раскачивалась из стороны в сторону, глядя ему в глаза.
Свет обмякал в разобранной постели,
и день лежал, как ночь, сошедшая с колес.

А потом она долго падала
за линию горизонта
и всплывала из моря, и вновь в него уходила
всей дельфиной своей улыбкой
в рай из ада, и
оставляла на нем круги, расходящиеся до зонта,
под которым сидела мать ее, лет на пять повзрослевшая.
Моря слепь из ладоней неба всё выскальзывала, как мыло.

И покачивалась опустевшая
даль, как лодка,
и по сторонам ее — две головы
покачивались, запрокинув лица
к небу. Вот как, —
она думала, — обернулось всё, обернулся отцом.
И веревочной дрожью ноги
то сводило, то разводило —
все четыре в мычащем «мы...».
Будто крылья вниз, а птицы
опрокинуты вверх лицом.

И она, вестница, во все лопатки свои гребла к берегу,
с каждым взмахом руки становясь старше, а он, молодея,
едва поспевал за ней, тычась в ее мельтешащие пятки,
а когда достигал и сплетались они хохочущим веретеном,
к нему прижимались две голеньких прятки

и обмирали в груди его, холодея,
и вышли они, и море покачивалось под ногами,
перевернутое кверху дном.

Бредни, — сказала мать, через ее плечико
на него глядя, не снимая солнцезащитных.
И та, отшатнувшись, годы еще в этом лесу
покачивалась на весу,
как зацепившийся парашют
с полуживым разведчиком.

Тот, другой, который ей не отец.
Полубрат, который по материнской.
И родные, как берега, без парома.
Так, наверно,
верней:
не крест несем, а крестец
кверху задом. И всё, что кровно, —
будто третью группу вливают первой.

А потом он крадет ее, как руно.
Как «рено», — поправляет она его, уходя от погони.
Они бродят по Крыму, как вино,
вина подрастает, себя не чуя
меж ними двумя, ночуя
и отходя.
Она кормит звезды с его ладони,
а к утру сворачивается у костра, кладя голову под крыло.

И вот ей семнадцать, она берет его под руку.
Лесбос с Родосом, —
говорит, скашивая взгляд, как в зеркальце бокового вида.
Метр восемьдесят при шестидесяти пяти — так же, как у него.
Мы с тобой могли бы идти колесом
в триста шестьдесят градусов, —
продолжает. Она молчит, радостно шуруется.
Маленькая Лолита
подвязана к ее рюкзачку, болтается, как брелок.

Ее шаг остроносой туфлей шпыняет воздух
послезавтрашний, и по всей длине между ног
ветерок нагуливает себя до юбки, точней, повязки
на высоких бедрах, тугонько, наискосок,
черной, над которой под легкой тонкой
лунной тканью — как две сестренки
младших, спят, их пока не будят,
но и так видать, что под стать ей будут.
Аля, — шепчет он про себя, — Аленька...
Что? — она вздрагивает. — Двое нас.
Феска желтая с а-ля вуалькой,
прядь и глаз.

Они слегка под хмельком. Вечер старится
на глазах. Они переходят из бара в бар.
Они слушали трубы, те еще, от Кустурицы.
Лестница чуть покачивается под ногой
где-то в районе Пятницкой. Как из бора в бор,
они переходят из зала в зал, скользя
меж танцующими во тьме деревьями.

Ночь, у барной стойки они, вяжущий золотой
родничок сосут сквозь одну на двоих соломинку.
Светомузыка, пол дрожит, и клубится дым,
обволакивая их, он встает, выходит,
долго ищет уборную, долго смотрит в лицо
свое в мокром зеркале, и на себя оттуда.

Открывает дверь: тьма, во тьму
шаг, и чувствует
тело женщины, вдруг прильнувшей к нему, но так,
что не видит ее ни лица, ни тела.
Даже дрожью не назовешь эту странную тетиву,
во все стороны вдруг натянутую и отпущенную одновременно.

И такое под дых родство, и такое тепло бесстыдное,
голое, свет и щемь

этих губ, которыми ни вдохнуть, ни выдохнуть
эту тишь, будто вы в праще
над землей пригнувшейся до звезды развихрены.

Будто — что? — и не скажешь уже, потому что ни с чем
не сравнимо это —
ни с «я», ни с «она», ни с «мы»,
этот обморок света,
чуть от неба отпоротый и от земли.

Он не помнит, как он вернулся к стойке
бара, она ждала его, выживая соломинкой
золотой осадок, глядя поверх каймы.
Он не помнит, как танцевали они, одни
в опустевших залах, что ей шептал — не помнит,
он думал о той, другой, не думал о ней, а только —
кружась — задувал огни.

Не помнит, как проводил ее, как вернулся,
лег, уснул и вдруг — как нож
по губам полоснул: ее поцелуй, она!
Ты... — прошептал он наутро в трубку. —
Да, — ответила. И, помолчав: — А кто ж?

ФРАГМЕНТ 26

Он отворачивается к стене: коврик на ней зеленый.
А тот голубой был — тот, у которого его поселили.
Манечка его звали, Маня. Диссидент от гениталий
и выше — до проплешины, вроде листика клена
поры бабьего лета,
и ушей — приглушенных тонов кошенили,
страдивариусных, лессировочных. Попивали
и беседовали до рассвета.

Лишь беседовали, никаких движений
к сближению. И тем не менее,
он чувствовал, как отовсюду, из каждой щели
сочится этот его обволакивающий голубоватый снег.
Кухня вся была в книгах, там и сидели,
а книги расхаживали, как в курятнике,
и распахивались, как во сне.

И он не знал, что делать с этой опрятной нежностью,
с этой душевностью вороватой и пульсом беличьим
теплоты, где всё горело голубоватым тихим
пламенем, будто спиртом смочены эти крылья книг,
эта шляпа с узкой пернатой тульей
на гвозде, этот свет в окне, эти стены, стулья
и фигуры две, догорающие на них.

ФРАГМЕНТ 26.1

Он почему-то казался знобюще-ярким,
хотя, наверно, лежала медвежья тьма
на нем, а он лежал на голом полу посреди
комнаты — на ней, на Лине, точнее, на арке
опрокинутой ног ее, слыша, как ее голова
вдали выкатывается по полу, как сорняк в степи.
И еще — как дрожат ее шиколотки от звеняще
натянутой тетивы между ними, которую
он оттягивал копчиком, и тогда ее ноги
чуть сходились, и тело ее всеми порами
озиралось и гнулось, таращась
во тьму, вдруг лишившись опоры.

Свет был ярким, сидели вдоль стен
все, кто там находился, на той вечерине,
глядя, как трепыхалась на голом полу до утра
эта липкая двойня на перекрученной пуповине.
Или это казалось. Ни тела ее, ни лица
не помнит. Ни света меж разведенных колен.

Странно. Будто тела их в памяти обведены мелом
на том полу. Только контур — двойной петлей.
Странно, он помнит едва ли не всех женщин
там — ярких, других, среди которых
была она мутным вдали пробелом,
чуть мешковатым, что ли, и ко всему спиной.
Как и к ней спиной — все эти афродиты и коры.

Он переворачивается на живот. Если,
думает он, вчерне
всех их собрать, тех, кто
ноги раскидывал на этом вот топчане,
получилась бы та еще песнь песней.
В духе техно.

А увенчать ее той малюткой, с луны
свалившейся прямо ему в кровать
и лететь продолжавшей, переворачиваясь на лету
под ним, как кошка, и сглатывала слюну,
и разбрызгивала ее, как лунный свет,
и вдруг — дернувшись — так начала кричать,
что стеклагнулись, а он в поту
пытался зажать ей рот пледом, подушкой, плед
рвала и отбрасывала зубами, ноги
ее разбегались топотом по потолку,
вспышка крика, его отбросило от нее струей,
не урина, нет — что ж тогда? — и с таким напором
вверх, как у кита, точнее, китенка...
И всхлипывая, она еще долго техкала,
затихая в его ладонях, вдаль на горы
глядя, затуманенные в окне, тропинки
заплетая в косички, в танец
медленный, и покусывала его палец
влажный — маленькими, со щербинкой.

ФРАГМЕНТ 26.2

Он идет по перрону, проталкиваясь меж корзин,
лбов, плечей, чемоданов, тачек, идущих цепью
извозчиков с криком: *Саки, Саки,*
Евпатория, Ялта, под ключ, такси...
Незаборчиво, слышится как *плацебо.*
Зразы, цыпочки, пиво, раки...

Он не помнит ее, а она его. *Недорого* —
люкс — недорого... Четырнадцатый вагон.
Первой выходит тетка с буденновскими усами,
Господи, пронеси... — зажмуривается. За ней —
Лаура... Да! — он прынул вперед. Два борова
подхватывают ее с двух сторон
и уносят. Четыре Усами
Бен Ладана, бабушка с мамой, старлей...

И... Неет, морщится он, улыбаясь, розы
протягивая. Плывет под ногой перрон.
Рот плотояден, прищур из-под крашенных
рыжих, вся — здесь,
ноги крепенькие, стоеросовые,
хорошо заквашенный
бюст, вес, весь.

Всю дорогу она пересказывает ему свои
сутки купейные, как пересказывают сериал.
Он меняет местами ее с шофером автобуса —
мысленно — и теперь она далеко впереди,
а шофер, пустоту покручивая, как баранку,
превращаемую в ленту мебиуса
на крутых поворотах, подмигивает ему,
сидя рядом, глядя, как она колет шпилькой
педаль газа, путая с тормозом, по стеклу
лобовому свой сериал размазывая
с этим воронежским «Г» — как перец в горилке,
всплывшим к горлышку ее бледно-желтой речи.

Она принадлежала к тем хладнокровным, к которым только прижмись — и, как от печи, пышет. С мягким знаком, с которым течь и течь. В Думе она работала. В Думе, не приходя в чувства. По линии public relations. С ровным характером. Ровным, с которым уж лучше лечь, чем стоять. Хотя, ляжешь, и трудно сказать — что лучше.

Они чуть опаздывают, у него сегодня творческий вечер на даче Чехова, в шесть. Она все трещит о своем. А если б он был нормальным чел. и хотел бы сосредоточиться? Трещит. Скалы, прикрывшие дачку, похожи на жест к небу выпростанного среднего пальца. Типа: фил-fuck! Очень по-чеховски. Домик у моря, сад, брызги в него залетают, кропя бамбук — единственное, что здесь высадил классик, кроме Книппер и трех сестер. У китайцев для бамбука и числа 44 — один иероглиф. Антон Палыч Бамбук умер в сорок четыре.

ФРАГМЕНТ 27

Как назывался тот цветочный олигофрен, женушка, тот огородный динозавр, тот златокудрый ворсисто-пупырчатый тубус, который я всовывал в тебя, замирая и сглатывая, сжимая его жилистый плотоядный стебель, как до утра дрожали твои разведенные, как мост, колени, и ты рукой удерживала меня на миг, чтобы там, вдалеке, в низовье, крылышками носа втянуть воздух, и на вдохе отпустила руку, причиняя себе меня как боль, отдаваясь ему, не мне, через него, через его сочное хлорофильное быдло — хлюпающее, чавкающее в тебе, ворочающееся с боку на бок, хряцающее в твоей глубине, с прижатыми ушками, урча, с прижмуренными щелочками и выталкиваемое тобой со слизью — не уходи! Выскальзывающее со всхлипом вдогон, с жалобным кваком пакли, чтобы снова — войди-войди, заполни меня, вытесни-освободи, да, до дна, до, но не ты, сжимающий стебель, не ты, переглатывающий, — другой, твоими руками загребаящий жар, она хочет его, не тебя, она держит за руку тебя, но заходится с ним как с тобой, да, еще, она шепчет тебе, но дается и стонет ему, да, наверное, через и сквозь, и поверх его длинного грузного кукурузнопружинистобрюхого тела, которого нет у тебя, — к тебе она тянется, хочет тебя, так она говорит, *так они все говорят*, даже если и так, и он нужен тебе, соглядатай, ревнивец, сапожник, портной, чтобы что? — воспалить промежутки, зазор между нами поджечь — чтобы что? — чтоб, в огонь окуная лицо, тебя видеть, хотеть и не мочь дотянуться? Не мгновенье прекрасно, а миг до него, предстоянье, замри, остранись, вей веревки, вяжи себя к мачте, — чтобы что? — чтобы длилось, чтоб не утолялось, чтоб сглатывать чувство вины, чтоб меж ребер сквозило...

Как же звался тот плод шерстяной? Плотояго? Не помнишь? Много забывается. Третий час ночи. Где теперь, женка? Во сне? В розыгрыше? В какой сторонке? У окна в Рязани? Голодно. Гробы с глазами. Телячи нежности, печень, притрусить морковь, притушить не солоно, не то

огрубеет. По всем каналам снежит, ТВ. Как же он назывался, тот голем глухонемой, то урчащее рыльце в пушку?

Ночь, Батум, комендантский режим, низкий огненный диск над хибаркой, имя хозяина — Цезарь. Он в окопе, с фамильной двустволкой, в саду, ветер с моря (та-та, та-та-та... — откуда этот ритм?), виноградные грозди, давленные на простыне, ты у двери, на корточках, пытаешься извлечь из себя этот, как его там, тот, который наутро в овраге лежал на боку, в балахоне обмякшем, со свернутой головой, в чуть отдернутом капюшоне.

— Э-э-э, — Цезарь долго раскачивался над ним, — ядовитый как звэр, я растыл его для красоты, обходит, руки мыт от миазм. — Взял лопату, зарыл, притоптал.

Ключик от нашего дома, женка, все еще висит на гвозде в той хибарке, позвякивает. Ни тебя, ни меня, ни Цезаря, ни страны.

ФРАГМЕНТ 28

Топкая полузаросшая колея, руина монастыря со сквозящими зевками окон, сдвинутый на затылок купол. В начале семидесятых свезли сюда кузов умалишенных женщин, сгрузили, впихнули в рукав галереи, замкнули. Директор, главврач, две санитарки и повар. Раз в месяц — фура с продуктами.

Восьмидесятые, ночь, крепостная стена, у стены — человек. Спит. Точней, не смыкает глаз. Из галереи — полупридушенный вой, взрезаемый сполохами глоссолалий. Смерд — наплывом.

Восемь утра, санитарки выводят во двор стреноженный бритоголовый табунок женоподобных тел и, намотав на кулак свободные концы веревок, подводят этот взволнованный бредень к двери храма.

Одна — большеротая плоскогрудая дылда, под Маяковского, обхватив огромными ладонями запрокинутую голову, плюет вверх, ловя ртом падающий плевок. Прежде чем поймать, бросает отрывистый взгляд в сторону — отрывистый, зашоренный ладонями, победоносный.

Другая — нервно сдрачивает тяжелую рыхло-творожную грудь, то в кровь расчесывая ее желтыми обгрызенными ногтями, то баюкая, как дитя.

Третья — седобородая колченогая мумия с оттопыренным ухом, приблизившись, выгибается: одна рука над головой, другая отведена за спину; туго скрученной струей метит вокруг себя территорию, прострачивая пыль.

Пятая, застенчиво отводя взгляд, отщипывает от себя куски гниющей плоти и, кося по сторонам, незаметно роняет, переминаясь, втирая их в землю.

К решеткам льнут тени оставшихся в галерее. Одна из них, к вечеру, улучив момент, прошелестит своим пергаментным ртом: *помоги...* За ее спиной Маяковский, сосредоточенно выгребая из-под себя говно и тщательно изучая, размажет его по стене в виде солнца с зигзагами бегущих от него лучей.

В дальнем углу двора главврач в кожаном фартуке поверх забрызганного кровью халата кончит кухонным ножом распластанную на крыльце овцу. Две дебелие санитарки, став на колени, удерживают ее, трепещущую, за ноги.

Главврач подзывает гостя рукой: «Возьми Марию».

«Которую?» — спрашивает гость.

«Ту, что плюет, — отвечает врач, — Богородицу».

Санитарка поднимает голову: «Йосып, зальш йи, вона вжэ нэ спрможна».

ФРАГМЕНТ 29

Историй на свете — всего три: о ней и о нем. Но на самом деле их — ни одной. Потому что они не смогли сотворить друг друга. Это и есть третья, которой нет. Потому что кроме них на свете и не было никого.

ФРАГМЕНТ 30

Сказал, и тут же впилаь в живот, в низ живота, рука, мокрая, жгучей щемью. Ему четырнадцать, лес, палатка, в ней деревенская девочка, на год старше его, на ней — по очереди, очередь — у входа в палатку, полукругом, он — последний, девятый.

Полог раздвинут, палатка чуть набок завалена, там уже пятый, стонет, пятки ее выпростаны, елозят по сосновым иголкам, май, птицы поют, он чувствует сквозь дрожь, как его неофит втягивается, пятясь, как моллюск, в клейкой слюнке, а там, в палатке, Толян, по кликухе Слон, со своим соответствием, и лес, взрезанный ее криком, хрипом, и дрожь пяточная, и она воет, зовя: «Макар! Макар...»

И Макар, тот, который был первым на ней, тот, который ее прикадрил в деревне, пока он с ветеранами прижимал к забору гуся, Макар ныряет под полог, и они там вдвоем над ней возятся, а потом Слон отползает, и кровь течет у него по бедру, и дубина его обмякшая в разводах крови. И мальчик думает: всё, пронесло, шабаш.

Ан нет, палатка совсем завалилась, накрыв их там, и брезент начинает потряхивать, и голос ее оттуда совсем другой: «У-да, ту-да! Тд-а, ты-да...» И вроде как со смешинкой даже, осколочной, холодящей.

ФРАГМЕНТ 30.1

Ждали выхода выпускников. Он появился первым, держа на руках одноклассницу и, мазнув невидящим взглядом по головам, покачнулся и рухнул с нею на клумбу.

Голову он поднял за рекой, в утреннем тумане, их застилавшем: ее, лежавшую в белом изорванном кружеве, как узкая грядочка ландышей; и его, голого, над нею склоненного, волхвующего цветовода.

ФРАГМЕНТ 30.2

А потом, подменив на несколько дней своего друга, работавшего на складе спортивной базы в пригороде Киева с чудным именем Конча-Заспа, он познакомился с легконогой женщиной, дочь которой была на несколько тысяч лет старше его. Старшая. А младшая — на несколько тысяч младше, по ту сторону от принятого отсчета.

А сама женщина стояла как бы вне времени, на призрачном пригорке над той рекой, которую мы второпях принимаем за жизнь, и в ней отражались, струясь, ее очень длинные ноги из осеннего солнца и несмелые груди, как прижатые кулачки, порывисто вскинутые губы, чуть приоткрытые к небу, и горько-веселые складочки у близоруких незабудочных глаз. Она стояла на этом зыбком пригорке, обхватив ладонями свою стриженую светловолосую гривку и, шурясь в какую-то дальнюю даль, встряхивала головой.

А жила она в другом пригороде, противоположном Конче, у которого тоже было дивное имя, близдиканистое: Бровары. То ли вареные брови, то ли ворованные. А у нее они были белесые, плесовые.

И мотнули они в Карпаты, которые он и любил, и знал. И она, казалось, и любила, и знала — его. И они ложились в постель, и весь его к тому времени изошренный опыт волхвованья над женщиной, карусельного ее вознесенья, обволакивающего охмела ее и отхода во тьму, за мерцающий занавес, не войдя в нее так, что ей кажется... Бог его знает, что казалось им всем, но глаза их лучились.

И у этой лучились, но не оттого.

И они меняли гостиничные номера на бревенчатые избы в снегах, печи на свечи, шило на мыло, лучились глаза сквозь мятущиеся языки его суетливо-факирного пламени.

И вдруг сжались и сникли. Тишь наступила. И темень. Лучились глаза.

Не торопила. Не поддержала. Ждала. Так казалось. Когда он пытался от нее заслониться, присев перед девочкой — той, которая на несколько тысяч лет впереди него, этот гла-

застый фаюм из будущего в длиннополом тулупчике с туго повязанным красным платком, заправленным за воротник.

Девочка покрывала его лицо горячей ладошкой и шептала быстро-быстро, пока хватало воздуха, а потом глубоко вдыхала, глядя поверх его головы.

И он между ее пальцами глядел поверх ее головы на женщину, стоявшую у стены этой затерянной в снегах котельной под Яблоницким перевалом, за которым где-то кружила машина с ее любовником, припавшим к рулю в этой снежной крупе, завивавшейся вверх от земли, за которой горело окно с тeneвым, прикусившим губу, запрокинутым профилем старшей.

И ладонь на лице, и пляшущий отблеск от приоткрытой заслонки на прижатых к груди кулачках, и крупа по стеклу, и прикушенная губа, и озябшие ноги на голом полу, и окно, и глаза сквозь ресницы лучились, он был в ней, уже в ней, как во сне, от земли отделившись, бескрылый, висел над землей и не падал, не падал, земля уходила вниз и вбок и выравнивалась, чтобы снова крениться, он плыл, он парил, и под ним, как земля, отдаляясь и близясь, лучились глаза, увлажняя веселую горечь дрожащих штришков у висков.

...Девочка, всполошенная его несмолкавшим звериным ревом, стояла в дверном проеме с таким же разинутым ртом, как и у него, сидевшего на полу. Чуть поменьше, конечно, и не таким опустошенным. И без того язычка, подмывающего верхний бережок скользящей излучины приоткрытых в улыбке губ на запрокинутой голове со смеженными глазами.

«Я думала, меня разорвет, — тихо смеялась она, застегивая за спиной свой детский лифчик, — вот-вот, и лопну, всё льет и льет, и всё с этим ффырком, ффырком, как деревенская водокачка, а ты, — она всё никак не могла, смеясь, справиться с этой застежкой, елозя за спиной сложенными крыльями, — а ты — всадник. Помоги, пожалуйста, сегодня не получается».

Девочка за окном поднималась все выше на заснеженную гору по смерековой вырубке, проваливаясь по грудь и уже не оглядываясь, исчезая красным клубком под небом вдали.

ФРАГМЕНТ 30.3

Беатриче стояла на высокой скале над морем и, оттолкнувшись, летела... летела... всю его жизнь.

Таким было тело ее. Как Крым. Она и была его Крымом со всем его морем и небом, и детством, и соразмерностью губ и ладоней, и глаза и сердца — всему, что вокруг.

А совсем вокруг, то есть за летящим солнечным извивом ее тела с сомкнутыми пятками, висел на пальцах поселок, прижавшийся к скалам и глядящий через плечо — на нее, летящую, на море, клонящееся, как подсолнух, к закату. И назывался он Понизовка — от холодного течения, набегавшего в дни полнолуния незримыми янычарами с кривыми ножами в зубах.

Природа жила в ней — как осень в лесу, как свет меж деревьев, как снег на весу. А это с людьми не случается. Природа обходит их, чуя хребтом за версту. А в ней вот жила, не чуралась. В ней было просторно, *отзывчиво-тихо*, светло... Нет, светало.

Не успел он взойти по лучу — не из ада, из табора, который к нему подтянулся в искрящем дыму. В ту же ночь на краю поселка схлестнулись их десять голов с харьковской сотней курсантов, танкистов. Эти парубки наезжали сюда ритуально — выпустить пар, порубиться.

Челюсть с тремя переломами ему туго стянули проволокой, пронизанной сквозь десну меж зубами. Месяца на два.

Он ушел из больницы, прихватив во дворе сушившееся на веревке одеяло и, набросив его на плечи, сел у осеннего моря.

Жилье он нашел себе в полуразрушенном замке над Ялтой. Кроме него там скрывался юноша-рыцарь, не бледный, но беглый. И с ним его маленькая, но удаленькая декабристка. И еще у них был варан с декабристку. И такса по имени Винчи. А варана они называли Джоконда.

И они выводили их погулять на заброшенную детскую площадку, за руиной восточного флигеля дворца. И Винчи

играл с Джокондой, следившей неповоротливой улыбкой за его мельтешеньем у носа с припаданием к земле — то слева, то справа, перебирая ракурсы.

И вдруг исчезал в полусомкнутой пасти модели — так, что лишь пропеллер хвоста с визгом вертелся в нехотя разворачивающемся фюзеляже.

Подползая к углу песочника и хитровато ухмыльнувшись в оглядке, она срыгивала в угол этот трепыхающийся моторчик.

Порой игра заходила так далеко, что приходилось подымать Джоконду за хвост и выбивать из нее Мастера плетеной для выбиванья ковров.

К морю он спускался через Чеховскую библиотеку, тишайшую, с одичавшими книгами, оглохшими от тишины. Брал следующий том Достоевского и, наверно, по единственной в стране улочке Рузвельта, которая как-то весело рифмовалась в его уме с улицей Маршака в том же городе (как разведенные в стороны ладони: у Теодора — проститутки с укатившимся инвалидным креслом морвокзала, у Самуила — шутки с неприкрытыми чреслами окраинного базара), шел в закуток у моря, известный лишь местным, к морю, как известно, не хаживающим, и читал, не шевеля губами, и спускался по ржавой лесенке в воду, и во рту его, зловонном, чужом, онемелом, томились у крученой железной решетки эти три, так и не успевших сказать слова: я люблю тебя, я... — отплывая от берега, — тебя, — выдыхал он носом в воду, — люблю, — переворачиваясь на спину и обнажая железо во рту, поблескивающее в лучах, и греб к ускользавшей, смеркавшейся нитке берега.

А потом прошла низовка, резко похолодало, в замке он остался один, мастерающий пончо из того больничного одеяла.

От Достоевского остались непрочитанными лишь тома примечаний из собрания того тускло-болотного цвета, на который уже поглядывали припухлые берега.

Да и море теперь обнажало порой такой же проволочный, косогубо мычащий в нависшее ртутное небо распатанный рот.

А потом, когда ему сняли решетку и выпустили язык на волю, он переехал в Симферополь, к ней, где она, белошвейка, училась, в этот городок Сим-сим, где двери и не закрывались, и наступила пора тополиного мимолетнего счастья.

А городок был похож на что? — на развязанный пуп на клинышке полуострова с зарослями, чем ниже, тем гуще? На султана? На главного евнуха, а гарем в море полощется? На Одессу, переехавшую в Винницу?

Что-то все же странное было в нем, отошедшем от берегов в глубь полуострова и живущего там полулежа, с подбородком на локте, глядя в даль цвета кислого пива своим солнечно-пыльным лицом.

Один глаз хохла, другой татарина, нос турка, рот грека, а сам русский.

Или: голова — Сим, под ней — Фероп, а ножки — Оленьки. На семи ветрах.

Шаг в сторону от центральной улицы — и ты в кривом двореке времен полиомиелита; колонка со ржавой каплей на губе посреди двора, застеленного облезлой леопардовой шкурой сквозь подрагивающую листву инжира.

Ледящие шавочки лежат в бигудях, хекая от жары. Фаянсовые кошки с мутно-голубыми глазами, как солнечные копилки, сидят на черепичных крышах, постукивая оплетенным вокруг лап хвостом.

Горбатые запорожцы, висающие в двориках, полуразобранные, на полпути к вознесенью. Мужички, лежащие под ними в обнимку с кружкой пива и графиней Монсоро, полученной за 20 кг макулатуры.

Белье на веревках, как генеалогическое древо, привалившее двор. Детская табуретка и вздутая баба на ней со взбитой ватой на голове и ожерельем клыкастых прищепок на валкой двуспальной груди.

Неторопливо фланирующие улицы. Со взглядом чуть вверх и в сторону. Двух-трехэтажные особняки, почесывающие спину. Или просто стоящие с пустыми разинутыми ртами окон.

Речка, бродящая по городу, как кошка, сама по себе.

Деревья и кофейни перепутались так, что давно позабыли, кто из них кто. Хвостатые турочки на раскаленном песке. И такие же дурочки, закипающие на деревьях. Птицы, млеющие за столиками, люди, щебечущие на ветвях.

Рынки на каждом шагу — мал мала больше: рыбы в цветах, вино в осах, млеко в невестах, зелень в слезах, мясо в коралловых рифах, град винограда, фрукты-бутузы, бес на весах с гирькою солнца в зубах.

И — выбеленная подмышка вокзала, сквозь которую въезжала страна и уезжала, не замечая города.

И он послал телеграмму ректору университета: «Не могу вылететь на госэкзамен по погодным условиям».

А погода стояла... На ногах не стояла, вся — в небе и лапки в меду.

Сад луны и пиры до утра, а с утра и до ночи — стог солнца, в котором, зарывшись, лежали.

Смеялась. Он зашептывал пуговки ее сосков, тугоньких, не оттягиваемых губами. Смеялась. И в шею, как воздух дрожащую, когда поддувал. И когда кончиком языка водил по нехоженым тропкам ее ладони.

И когда уплывал на щеке по стыдливо пугливому свету ее живота — в золотые черемушки средостенья, смеялась: «Щекотно!»

И повсюду, повсюду ей было стыдливо щекотно. От слов, что шептал в ее легкие пятки, и в чуткие прятки, и в русые прядки, в ребенки ушей...

Я люблю тебя, я... — он тянулся губами и дул, распаяя ее, разгораясь, и стог уже тмился от света, кренясь, и — мазнув языком, облизнулся и — вспыхнул. И тихо осел, запахнувшись распущенным жаром — с поддувом вперед, все летящим, летящим — во всю его жизнь.

ФРАГМЕНТ 30.4

К тому времени он был уже немного женат. В том смысле, что меж ними разгуливали полторы тысячи километров, то упраздняя себя, сжимаясь в точку, захлебываясь светом, родством, страстным стремительным счастьем, и расплетались, меняя конфигурацию, точнее, перемещался он, а она поглядывала в окошко на реку Оку и чувствовала его, где бы он ни был, как биенье своего сердца. А он ее — как кровь свою.

И потому они могли не видеться месяцами, годами, встречаться раз в 10, а живи они дольше — раз в 300 лет, время их не касалось, как не меняется от рождения группа крови. В это трудно поверить, но те, с кем это случилось, поймут.

И это не покрывалось тем, что имеют в виду, говоря: «любовь», или «судьба», или «страсть», или «сестра». Разве что отблеск от двух последних. Для него. А для нее он — *творец*, если одним словом. Но и *редкий ребенок*, если двумя. И пожизненный, как небо, *мужчина*.

И царила меж ними какая-то обратная, что ли, перспектива. *Было-есть-будет* их жизнью читалось справа налево, в обратной зависимости: *было* стояло на переднем плане времени и, как поводь, выводило «задник» будущего в бесконечно длительное и единственно настоящее *есть*.

В старину у русичей время текло из будущего в прошлое, так и называлось *переднее*, то есть начальное.

То есть они уже были в будущем, тысячи жизней назад, у его истока, и там неразлучно текли, а здесь расплетались, как в устье река, и опять заплетались. Странно все это, необъяснимо. Будто два встречных течения в реке. Но и это — и так, и не так.

И он все кружил: Киев — Москва — Ока — Крым — Киев. Как часовая стрелка. А минутной была его жизнь. А секундная подрастала. В Киеве, с бабушкой.

ФРАГМЕНТ 30.5

День седьмой, затянувшийся, как потягиваются со сна. Будто яблочко съел, а из рая не изгнан. Крым. Рыбенок. Божок-бережок. Мырк в воду и — зеркально — отряхивается на пригорках.

На одном из таких пригорков, выходя из троллейбуса, он подал руку девушке, она чуть качнулась вперед со ступеньки, и длинная плетеная коса лизнула его ладонь. А когда она сошла на землю, они как-то неловко ткнулись друг в друга глазами, и ресницы их перепутались.

Худенькая, отчего казалась еще выше, и гибко-упругая, как прутик приречный в порывах весеннего ветра.

Вербная. Бусинки опушенные, перламутровые. Такое чувство было, очень тактильное, недотрожное, по всей длине. Онемелые бусинки будущих крылышек.

Была она замужем и жила в Крыму, тоже у моря, но на другом, не защищенном от ветра краю.

А тогда на ней была легкая белая блузка, как тонкий-тонкий ледок под весенним солнцем. И казалось, она неподвижна, это только ледок, подрагивает, истончаясь, тая... И он все скользит по нему, распластан, скользит в этом талом узорчатом крошечке, прогибающемся под ним, расступаясь перламутре, пока не вынул лицо из воды и не лег подбородком на тот настороженно-чуткий берег ее плеча, над которым склонилось ее лицо с чуть озябшими светяющимися глазами.

А потом она долго-долго плела свою косу, прижав колени к груди. Талые к талой. А перед тем — так же долго подтягивала под себя ноги, подрагивающие по всей длине — аж до того берега. И он все глядел на нее, заплетаясь зреньем, таким же долгим, таким же талым — под этим маленьким зимним, еще неопушенным солнцем.

Так родилась его вторая дочь, талая, крохкая, лунная. Пять лет спустя после солнечной.

И в обеих семьях мужа не сомневались в своем отцовстве. И, соответственно, дочери. А он был как бы волшебным их другом.

Семейству солнечной он отдавал на лето квартиру. А сам обычно или бродил налегке по Крыму, или севернее, по часовой.

Тем летом ей, старшей, уже было одиннадцать, они взяли водный велосипед и покатали по кисельной глади в ясный, чуть скругленный по сторонам, горизонт.

«Слушай, — сказала она, раскачиваясь над педалями, — а что это ты меня так любишь? — и, приблизив к нему свои ясные голубые: — Потому что мы так похожи, да? Вот здесь, и вот здесь, и там... И болит у тебя вот тут, где у меня болит. Потому что мы ведь одно, да? Потому что, скажи, я твоя...»

Он, зажмурясь, кивнул еле слышно: «Дочь».

«Дочь!» — она выкрикнула уже из воды, а он не слышал, уйдя под воду с другого борта, велосипед раскачивался без берегов. «Да!» — выкрикнул он, всплывая. И она, поднырнув, оплела его всеми руками, и они, пузырясь, погрузились под воду: «Да!..»

А потом она все торопила к берегу, захлебываясь от счастья, мол, мама-то как обрадуется... Мама погладила ее по голове и усмехнулась: «Да. В волшебном его воображении».

А потом — или это было раньше? — тем же летом приплыла талая льдинка с мамой, на денек повидаться. И он повел их в укромную Чеховскую бухту, куда *солнечные* не хаживали.

В тот день поштармливало. И без того маленький, поджатый к скалам пляж заливало, оставляя сухим лишь лоскуток на двоих в обнимку, где они и сидели, то и дело вылавливая из воды дочурку, которая в ответ с укоризной покачивала головой: «Это вам только кажется, что это море». А когда мама начинала: «Я же тебе...», — она ее обрывала: «Это тебе только кажется, что это ты». И так далее, о чем бы ни заходила речь.

Такой день у нее оказался. И он ее целиком поддерживал, говоря: «Это тебе только кажется, что тебе кажется...», — и вдруг увидел сносимый в бухту островок велосипеда, передаваемого, как на руках, волнами все ближе к берегу — так, что он уже видел машущую ему *солнечную*, едва удерживающуюся на этом заливаемом пеной островке с мамой и братом.

И вот они все шестеро стоят на одном квадратном метре среди скал, обдаваемых брызгами. И он не помнит, запутался, кто о ком знает и что. А кто догадывается и о чем. И они стоят голые, оглядывая друг друга, жмясь вплотную.

И Чехов, прильнув к окну своей дачки, глядит на них.

Или это ему только кажется...

ФРАГМЕНТ 31

Она лежит на сосновом мыске, на заштрихованной колкой охрой земле, подстелив под себя мотыльковое полотенце. Лежит на спине, в узких купальных трусиках. Смотрит, щурясь, на далекий пенёчек солнца: двадцать одно курящееся кольцо.

Лучи сквозь подрагивающие ветви перебирают тонким боязливым циркулем ее наготу и, не находя несоответствий, скользят к ее отведенной ладони, совсем детской, с сосновыми шпильками в приоткрытой горсти и, дрожа над ней, будто бы пересчитывают их беззвучно: *нет-нет...*

И к груди возвращаются вместе с ладонью, шпильки сыпятся меж двумя невысокими лунными вдохами, на вершинках которых — две гулкие капли, разбившись, подпернулись вверх розовато-кисельным, немотно томящим исподом.

ФРАГМЕНТ 31.1

Если б не губы, на которые глядя у них срабатывает это звериное рефлекторное — прижать к забору, юбку задрать и долбить, долбить мертвыми отбойными молотками, гребя лицо заскорузлыми пальцами, жирнеющими от оснований к ногтям, гребя по этим губам и плюща их, оттягивая одну от другой, вгрызаясь всей пятерней внутрь, волки!.. И что им в них? Как кровь, как течка.

Если б не губы, лицо ее можно было назвать по-детски милым. Красивым? Нет. Но в этом дружеском, чуть озорном подмиге меж девочкой в нем и женщиной, в этом скользковатом зазоре (и «скользковатость», видимо, шла от губ), в этом подмигивающем зазоре меж даже не девочкой, а лиловато-льяным, чуть перезрелым светом, с этой влекущей пылью, вяжущей взгляд — через губы с чуть смазанным подбородком, к которому рефлекторно тянулась рука — прижать, отводя от себя под собой вместе с губами, с их влажно холодной кривящейся полостью, с этим нежным картофельным носиком в разбегающихся от него веснушках, с этими чуткими васильковыми проталинами глаз, прогреваемых мартовским солнцем, меж этой не-девочкой и не-женщиной, в этом зазоре с подмигом, положенном на сохраненье, было что-то сводящее с колеи, разводящее зренья, как ноги.

ФРАГМЕНТ 31.2

Ничего нет. Ни души, ни Бога, ни связи между событиями. Лишь последовательность их возникновения и исчезновения. Дхармы, Михалыч ей объяснял. Михалыча смена, потом ее, потом Алика, такая последовательность. И никакой связи. Нет никого, потому что Никого нет. Михалыч говорит: *почти нет*.

Почти меня почти нет. Лежу на верхней полке, которой почти нет, во тьме, которой почти нет, я, черепашка под клетчатым одеялом, которого нет почти.

А внизу нож летает, охотничий. Стоит в воздухе, без руки, ни за кого не держась, поблескивая, принохиваясь, затачиваясь о шепот.

А черепашек ножом выковыривают и высасывают, как устриц. И лежат они голые на спине, с головою накрывшись окостеневшими одеяльцами.

Завтра море увижу, завтрашними глазами, а эти, сегодняшние, останутся здесь и будут ездить на поезде туда-сюда, пока не исчезнут.

И никакой связи.

ФРАГМЕНТ 31.3

Вир, дно баркаса на рыбацкой стоянке, два заржавленных рельса под днищем, бронзовые проволочные кусты, сцепившиеся над баркасом, звезды сквозь них.

Море, сонно лакающее лагуну, смочущее мерцающие сосочки в расщелинах скал, облизывающее с исподу вымостку со спящим на ней рыбаком.

Вир, ладони его, покрывающие меня всю, целиком и повсюду. Ладони, и за ними — повсюду — глаза его, наплывающие удивленно. С этой — кажется, чудом — нерасплеканной нежностью. В этом цепном сухопутном баркасе, чуть кренящемся набок, с якорем, впившимся в днище у нас в головах.

Плывем, и внутри меня будто рыбы снуют по дну — тяжелые длинные гладкие красные, и одна из них — там, у входа, стоит, и вибрирует, долго, как угорь, вплывая, собой заполняя и распирая, и тычется в топкое дно, подымая горячую дрожную муть, и, кривясь, замирает, и, вдруг отпрянув ко входу, врывается, лезет на стены, крича, содрогаюсь, ища куда деть себя, будто за ним — кто?

И ладони его держат голову мою на весу, и ресницы (искрицы) сцепились с его слюдяными, и губы друг в друге запнулись, стянулись, не выплесть.

И он все зашептывает меня, как та звезда, танцующая теперь во рту, во мне, на кончике языка его, зашептывает, задувает — всю, целиком, повсюду: руки, перебирающие его влажное горькое тело как свое, зашептывает; ноги, текущие под его ногами, как дно под рекой, задувает...

Он стоит во тьме у лебедки, невидим почти, потравливая трос, и баркас, поскрипывая, покачиваясь со мною внутри и вздыхая, ложится на воду. Он впрыгивает, и мы отплываем, мы — муж и жена, говорит он, вздергивая веслами ниточное спутанное серебро лунной дорожки.

ФРАГМЕНТ 31.4

Дом Гны. Ласточкино гнездо веранды. Накрытый свадебный стол, на столе два стула. На них — Вир и Наха, оба обнажены по пояс и увиты виноградной лозой с гроздьями, а на головах венки из карликовых огородных помидоров.

На столе, расступаясь от ног, рассыпаны персики, груши, кизил, орехи, райские яблочки, адовы сливы и промежуточный с лимбом в зеленых мошонках инжир.

Бутыль плетеная муската. Все за столом, стоя, разногласят тягучую терпкую мантру, пьют, обрывая виноградины с их одежд.

Море дышит зыбучим протяжным накатом вниз. Ходит желтыми ребрами и сметает с них пыль и стеклянную крошку. Вертит небо по кругу с линялым тряпьем облаков над пустынным просторным котлом в плесневелых разводах с пригоревшим на донце поселком.

Этот гулкий котел, висящий на радуге, чуть покачивается, кренясь к морю, где дужка ее выскальзывает из заушины.

Горько, — кричат, — горь-ка!

И они встают со стульев, вжимаясь друг в друга грудью, давя виноград, стекающий по ногам белыми мутными, красными струйками, и он держит ее на весу, обхватив своими бескрайними руками, ее — вместе с хвойным мятущимся морем, ее — вместе с гнущимся зеркалом неба, ее — вместе с радужным веретеном, их обоих свивающим в прозрачный кокон.

ФРАГМЕНТ 31.5

Звонок среди ночи, я открываю и глазам не верю, висну на них, а они передают меня один другому на весу, обцеловывая, смеясь, как шальная, висну на них и щекою трусь.

И потом так тепло, так весело, в баре, и пьем, и едим, и танцуем, и говорим, говорим без умолку, а Сей уж куняет, видно, расслабился там, в машине, но смеется еще, вскидывая голову и губы кругля, как факиры, когда огонь выдувают.

И Ан наверстывает, на него глядя. Сквозь стеклышко. Сквозь меня. Как сквозь стеклышко, сквозь меня с обеих сторон глядя.

Сей — в щелочки смотрит подрагивающие, слипающиеся, и держит меня за руку. Левую. А Ан — справа, за правую. Так и лежим на моей раскладной кровати в гостиной. Я — на спине, в середке, они по краям, голые, лицом ко мне, спят.

И мама не спит, лежит в спальне лицом к коврику и водит рукой по нему, постанывая.

Ан просил разбудить их в семь. Полчаса еще. Потолок надо бы побелить, затек. Вот уедут, и побели. Или Михалыча попросить?

И никакой связи, как он говорит, между верхом и низом, левым и правым, духом и телом, морем и морем...

Господи, переверни черепашку, Господи, если это твоих рук тело, переверни черепашку, рабу Твою, на живот, или жизнь переверни, чтобы по небу лапами не сучить, не ссучиться, Господи, если есть у Тебя рука... На-

Она высвобождает руки и, зажмурясь, протягивает их вверх над собой: На-ха.

И беззвучно смеется ужаленным маленьким ртом.

ФРАГМЕНТ 32

Он стоит у окна; ни моря, ни гор — всё заволочено вылинявшей пеленой. Дождь моросит — подслеповатый, белевенький, керосиновый. И ни души за окном.

Даже пса, который стоял третьего дня под рябиной, дымясь, как обугленная скамья, нет. Догорел.

Неделя уже. Неделя, как она здесь.

Он позвал ее, как всегда неожиданно, сняв трубку и чуть разомкнув губы, и почти без слов, поверх их позвал ее.

И она, выходя из ванной, с полотенцем на голове, прижимая трубку к уху, другой рукой уже складывала вещи в маленький рюкзачок. И он, прикрывая глаза, видел по ту сторону земли, как она это делала. Как никто, как почти никто.

С той световой скоростью, когда кажется, что мир замер, что движения в нем не существует. И больше того: с опереженьем времени, будто течет вспять.

Так легки ее жесты, так кратки, точны. И — без мышцы рассудка, как в полусне.

И, вглядываясь сквозь прикрытые веки в этот зыбкий реликт, он подумал о времени, о том, что, похоже, оно возникает от тренья, от шарканья, мусора нерадивых движений, от сора в зазорах, от нечистот.

А она движется на той частоте — звуковой, световой — чистоте, где мир, припадая к себе, вслушиваясь в себя, почти совпадает с собой. То есть дышит.

О чем идет речь? О перегаре объятий — любых, о высвобождении, о тектонике чувств, об их такте тактильном, о сенсорной акустике, о даре вниманья к перемещеньям незримого, о прозрачности, гибкости очертаний — начиная с себя?

Не настаивать на своей жизни, не греметь кастрюлей ее поперек земли.

А еще? Об ангелах-навигаторах? О сколько ж их у нее — повсюду! В подушечках пальцев плывущей, как утренний воздух, ладони. Ладони — не легче его, но и не тяжелей.

В ляжку продела, набросила рюкзачок и наутро была уже здесь.

Была. В дверь позвонила. И — как? — когда тоньше, чем тонко. Не рвется, а — что? Не дается? Как волос, сечется? Вздохнула, взглянула, еще у окна потоптались и разошлись.

Кажется, будто лишь двое нас в этом поселке тумана, рукопашно сползающем к морю.

Я — у окна, и она — между мною и морем, в доме, вмятом по подбородок в туманом изъеденный сад.

В доме, где нет ни тепла, ни воды, ни души.

Сидит в темноте со свечой, догорающей на полу. Одна, в тишине, в темно-синем пальтишке с надвинутым на глаза капюшоном, и искоса глядя на тень своего в капюшоне лица на стене.

Лица ни мужчины, ни женщины. Моцарта, пережившего смерть.

Лицо. Оно не одно у нее в одном. И то, очевидное, обращенное к карандашу, твердому, остро заточенному, казалось, скорее отталкивало, чем привлекало.

Выпяченный локоток подбородка, тонкие бесцветные губы, прямой нос с остринкой, маленькие серо-голубые глаза, высокий объемный лоб, светло-землистые волосы — жиденьких безотрадных земель, до плеча.

Жиденьких, безотрадных, под северным небом.

Крупная нежная голова. Болезненно крупная, с глубокой акустикой.

Краснодеревщики, почему-то казалось, маленькие сосредоточенные краснодеревщики с карандашом за ухом поднимаются там по бесконечным лестницам на высокие леса, так казалось.

И еще — светлый сумрак, струящийся сверху, и сладковатый дурманящий запах реликтовых пород простора и чистоты.

Хрупкий горчащий свет. И эта тихая несуетная голова чуть опущена, прикрывая неприметную шею, будто ее и нет.

А ниже — что? Тело? Видимо, тело. Видимость, без примет. Легкие плавнички ладоней. И ступней.

То есть в образе ее было всё, или почти всё, чтоб, вздохнув, обойти ее стороной.

Нет, не в образе, в том-то и дело, а в чертах, в очевидных ее, карандашных чертах.

А образ был — даже не сквозь них, и не поверх, а вне этих черт.

И даже не образ, а — как бы теснящее ее на обочину, не принимающее в расчет ее силы или желанья, — ее самое, какое-то трудное преломление ее существа.

Свечение. Болезненно трудное, скрытное и неприкрытое одновременно.

Свечение раны.

И будто она — эта рана, но одновременно и та, которая терпит ее.

И этот тяжелый, как камень текучий, и скреп и разъем между ними.

И еще: демон — лицо ее на простыне во тьме.

Демон, в котором беззвучно дребезжит эта вольфрамовая нить, вот-вот оборвется, смеркнет.

И еще — с этой капюшонной тенью на стене: сгорбленная кармелитка в келии, покачивающейся меж двух миров: там-здесь, там-здесь.

Маятник тени. Останавливается на стене. А самой ее нет в комнате.

Два сквозняка, зарастая, тянутся опустевшими рукавами к двум мирам.

А что она (или он) из себя представляет? Расхожий такой вопрос. Без мысли о разнице меж тем, кто он/она есть, кем являются и что представляют.

И ведь именно так: даже не какое *вызывают* представление, а что *представляют*.

И это особенно остро в ее случае ощутимо. Ее, этой офельной обочинки жизни, готовой отойти и еще дальше, только б не обременить собой. Уже отошедшую.

И всякий раз с побуждением, опережающим обстоятельства.

И в то же время, льнущую к этому *иномиру* беззащитным лицом и легким своим, осторожным плавничком ладони, мол, я такая же, как и он, как они, я *хочу чувствовать*

вать, что это так, что я там, с ними, что я могу — могла бы — быть, жить...

Счастье мое, — говорит она, — как горошина в трехлитровой банке перекатывается.

Кому говорит? Куда? И печенце выуживает из хрустящей пачки, и, надкусывая, замирает, глядя в окно, поверх меня, и такая обида горячая, безотчетная в ее лице, такая отчаянная неприкрытость — всего и во все края, всего, с чем ей не сладить, и не отнять, не унять, не утешить, и ест со слезами, не замечая их, и проглотить не может.

Слишком долго ее несло от берега. А ей все кажется — вот он, ведь доносятся ж голоса. Слишком долго, как и его, с детства. Только разница в том, что его несло по волнам, искрящимся солнцем, а ее — по безлунным рвам.

И этот ребенок в ней, брошенный, пишет ему на клочке оберточном: «Я хочу быть твоей женой я хочу быть твоей женой хочу быть твоей я хочу быть быть», впритык к краю, и больше нет на этом бумажном обрывке места.

И самой ее нет, только эта записка с распахнутыми глазами букв елозится по столу от сквозняка — туда-сюда, и скользит к краю, и ночь уже, а ее все нет, и бог весть когда вернется, в какой жизни.

Сиди, прислушивайся: поскребет в дверь и отойдет, не поднимая глаз, раздумав.

К тому времени, когда мы встретились, ей было 25, она заканчивала Художественный институт и вот уже двенадцатый год посещала школу йоги. В школе было три уровня, она составляла четвертый, в единственном числе. Учитель проводил зимы в Индии, ведя там параллельную школу и сам приращиваясь. Ей он давно уже сказал, что ему учить ее нечему, у нее бы учиться — да некому.

Она занималась в дальнем углу зала, одна, у маленького полуокна. Там одна, и за маленьким полуокном тоже.

Приходила она после занятий вся в стекле, возвращаясь в себя лишь на следующий день, после ночи. Души не было. То есть была, но сжавшаяся до узенького зрачка, до точки, стоявшей далеко-высоко за нею, в другом небе.

И когда я обнимал это плавное, плавающее по воздуху стекло и вглядывался поверх плеча ее в ту точку за нею, приближая, втягивая ее взглядом, она, эта точка, расширялась до черной проруби с крохким контуром, и — не ближе.

Ночь стояла в проеме меж ними, и я в ней — меж ними двумя, будто разрубленными и сраставшимися по-живому.

Вдруг подумал, что жизнь, как плющ, душила ее; плющ, вьющийся нежно, цветущий, все туже, все глубже въедавшийся в тело. А она — что? — как вериги его носила? Мысленно пальцем вела по его арабеске? Читала спиной — как приговор?

Анна — в пору бы ей это имя. Анна-малия.

Несравненной была она красоты. Несравненной, если слову вернуть его смысл — то есть вне сравнений. Но тогда уж и красотой это не назовешь.

Так откуда же чувство чуда? Чуда незримого и вместе с тем явленного с такой очевидностью, что та, внешняя, карандашная, веревочная очевидность, дрогнув, спадает к ногам, обмякая. И она вышагивает из нее, голая, та, кто есть, та, которую вижу.

Туман зализывает стекло. Он приоткрывает окно, тот просовывает свою зыбкую белесую голову, озираясь вслепую, и осторожно втягивает ее обратно.

Телефон на полу, в углу. И у нее — в углу, в полутьме, белый.

У Шекспира, если прикрыть рукой следующую реплику, гадая, всегда ошибаешься, выныривая лицом в песок. А с ней когда говоришь, но это и разговором не назовешь, а как долгий перелет за море, а слова — это то, где на воду садишься, но не телом, а тенью его, продолжая лететь.

Нет, не ангелом была она. Далеко не ангелом. Такое в ней колотье было между верхом и низом, между верхней глазницей ее и нижней, не приведи боже.

Как рвалась она по всем швам ветра, как чувства рвали ее, как волки, во все стороны разнося, как хрустели в их пасти, визжа, эти мокрые комья огня.

Рвали ее, до хребта выгрызая, а она шла в тишине, поверх себя, и ничего не могла в этой жизни, и йога ее ничего не могла, но и они ничего не могли, там, внизу, запрокинув головы, воя запекшейся пастью, дрожа, поддувая в кривой уголек, округленный губами.

А сейчас что она делает? Сидит в сумрачном склепе остывшего дома, на руки дышит? Нет, не дышит она на руки и в окно не глядит. Как в могиле. Я — чуть дальше от моря, стоя, она — сидя, чуть ближе. И туман меж могилами, как белье висит.

Все как-то легче прежде, нога кочевой, а потом втягиваешься — в людей, в огни, в землю.

И куда от костра отходить — зябко, да и что там, во тьме? И так все оседлей, все оседаешь, пока не оседаешь совсем, с вязкой глиной во рту.

И, наверно, уже никуда к тому часу и не захочется переходить. Оттуда.

Так, наверно, и с миром — с возрастом оседает. В этом куцем привычном зоре: день-ночь, желтый-зеленый, тепло-горячо-холодно.

Он садится на гальку, обняв колени, глядя на пустынное серебристо-чешуйчатое море, мысленно ведя по нему дорожку вон к тем скалам — мертворожденным правнучкам Сциллы с Харибдой, куда они плыли на лодке в мае какого-то года, и берег был таким же безжизненным, как и теперь, и море таким же пустынным.

Разве что правнучки в море тогда шевелились, точнее, лепестково-бумажные сарафаны на них из гнездящихся чаек.

Мы вошли уже в сумрачный створ между ними, голыми, стоящими со вздернутыми над головой сарафанами. И я вдруг увидел на маслянистой воде птенца, гребущего к расщелине в скале, и низко кружащую над ним — мать, почему-то решил я, а может, отец, или любая из них, но тогда почему именно эта срывалась с круга и с налета долбила, выдалбливала его изнутри, как челнок, рвала с мясом?

И снова взлетала, кружа, а над нею кружил весь этот птичий амфитеатр с опущенными головами, глядя, а по сторонам стояли голые, ослепленные солнцем скалы со взметенными над головой белыми сарафанами, трепещущими на ветру во взвинченной ввысь синеве.

И она вновь срывалась с круга, и уже с головою вонзаясь в этот уже чехольчик, еще гребущий с протянутой по воде головой, расшнуровывала его живот, грудь, торопливо сглаживая выныривающим из него клювом, и снова взлетала.

И возвращалась, а он, выскобленный изнутри до перьев, бескровный, чистый, все еще греб, перебирая лапами в метре от камня и все никак не приближаясь к нему.

Мы, все никак не приближаясь к нему, гребли. Сердцем, припавшим к глазам, гребли, не сходя с места.

Потому что — кто мы ему, этому миру, с нашим уставом? Кто мы ему, сторонящемуся нас отведенной головой с этим холодным чаечным глазом?

И я отвел взгляд вслед за твоим, скользящим к берегу, туда, где на скальном мысе, замыкавшем бухту, ютился отбеленный домик с одиноко парящей над ним чайкой. Домик Чехова.

Он подтянул к берегу эту мысленную дорожку в море к давно опустевшим скалам, и она, перекрученная, легла в воду у измочаленной кромки.

Разнузданность — вот ее слово, которое она говорила ему хотя и с улыбкой, но с ножевой.

Обида стояла за этим и ревность. Ревность ко всему, что ему так легко давалась эта безоглядная вовлеченность в мир, эта рукопашная радость движения вперед, это облапывание с порога всего, перед чем он прижимурил глаз: *хочу*.

И это *хочу*, вкочлачиваемое им в жизнь с тем же прищуром: *могу*, значит.

Не так. Конечно, не так. Если бы так было — ревности бы не было, встречи бы не было, не было б и обиды.

Она ведь тоже под ноги себе не глядит, но не здесь ведь, а там, у себя, выше. А здесь — каждый шаг ей с таким трудом, с такой болью дается, как по иглам идет, по длинным иглам, прокалывающим ее насквозь.

Оттого и идет она так, как никто не ходит. Женщины, из тех, в ком еще не вымерло это хребтовое виденье, замирали, вглядываясь в то, как она движется, в этот почти неподвижный танец, почти незримый, но втягивающий в себя, как — что? — как свет, струящийся вспять? — как звездное небо над покачивающимся кораблем? — как огни на дне пропасти, если стать на край?

Воплощение ее прошибало, как пот.

Даже не шаг к воплощению, а только лишь мысль о нем. И попробуй пойми, в чем тут дело, где ключ.

Целомудрие. Да, но не то, о котором мы говорим: *целомудрие*. Потому что иначе как быть с нею — той, нижней, или как ее ни назови, — той, которую она размазывала по безлунным улицам, той, которую под мужчин швыряла, как под колеса, той, которая потом выкатывала себя по ледящим пустырям молчанья, как снежный ком?

То, что *там* — целомудрие, то *здесь* — ком. Кома.

И эти приступы ее неуверенности в себе. В себе — которой?

Той — здесь, там — здешней.

Она ведь до встречи со мной и «привет» не могла выговорить, входя. В любой из домов входя. Почему? Что ж здесь трудного? В голове не укладывалось.

А ведь сказать — это значит войти. В дом, в жизнь, то есть ее, жизни, руку пожать.

И видя как, с какой легкостью снуют эти руки, мои в том числе, она обмирала.

Или когда я протягивал ей в руке деньги — вот, возьми, не мои это деньги, наши... Пятилась, и я чувствовал, как обмирала внутри.

Гордость, думал, оставлял на столе, не брала. Недоверие? Стыд? А когда я едва ли не вталкивал ее в магазин — может, то или это? Что хочешь, скажи. Ну хоть ткни хоть во что-нибудь пальцем! Что, печенце? Недели шли, месяцы. Дикость какая.

Для Боженьки я чищу зубы, для Боженьки, — говорит.

А потом, под одеялом, уткнувшись мне в шею, прошепчет: «Ты дал мне жизнь, ты... припускал меня в нее... нет, не с головой я там, все еще около, тебя около... есть в этом какое-то тоскливое безумие... будто ты жил, жил, по-разному внимательно, и вдруг умер... ты ведь и говоришь так, как я живу — всё вместе и всё разное, и это *всё* — как чувство непрерывного оргазма, ниспадающего к любви, к ее умирающей плоти, к тоске после, к одуряющему небытию, из которого вновь начинается это *всё*...

И еще, — она шепчет уже куда-то между мной и собой, — спасибо тебе за это счастье с листьями, летящими за твоим окном, за твою искренность, разнузданную, которой меня ограничивал... и, тем самым, за это чувство... — И совсем еле слышно, в подушку: — ...любви».

Кожа у нее — девственная, без единого пятнышка, ни шрамов, ни родинок, ни следа человеческой жизни. Будто необитаема. Смугловатая. Лекально-тягучая. Грудь — упругая со скругленными и как бы оттянутыми вперед распаренными вершинами. Круглый живот с зажмуренным пупом, ноги газели, заточенные к маленьким легким ступням. Движенья бесшумны.

Эрос ее обладал каким-то странным свойством, окрашивая ее, как погода окрашивает местность, саму по себе нейтральную.

Могла быть серой, невзрачной, сновидческой, слюдяной, зимнесолнечной, не отбрасывающей тени, или не быть совсем.

Но уж если она входила в *ту* погоду, которая разворачивала ее животом к миру..

Нет, ее прямота, как слепящий свет в лицо, была не грубостью, не неумением соблюдать приличия, не нетерпением, не отчаянием, не бунтом против женщины в себе, не — чем там еще? Не сокращением дистанции со всей ее драматургической бижутерией, а полным ее игнорированием, взглядом поверх нее: вот — небо, земля, хлеб, плоть, уд твой в моей ладони.

И взгляд — как слепящий свет в глаза.

Это обескураживало наотмашь, жгло, отбрасывало от, но и с такой же силой влекло. Вот так, с места, прыжок в космос, всего лишь — вот что тебе предложено.

А ей и прыжок не нужен, она *уже* там. Легким, как бы небрежным движеньем переместилась и ждет.

Все перевернуто с ног на голову. И идет по небу.

Там идет, где начало. С существительных начиная и первых глаголов, как и было вначале. А все эти птичьи топтания и горловые рулады — потом, если будет нужда в примечаньях.

И все это — вдруг, с разворота, под дых.

Что остается мужчине — почти ничего из того, что, казалось ему, отличает его как мужчину. И больше, тем самым, чем всё.

Это было в одну из первых наших встреч, мы забрели в разговор куда-то очень далеко от нас, так далеко, что, вдруг оглянувшись, увидели себя едва различимых там, внизу, на заснеженной остановке, у подъехавшего автобуса. Она взошла на подножку, дверь закрылась, я уже поднял руку помахать ей вслед, она прильнула лицом к щели и тихо сказала: «Трахнул бы ты меня, может, и легче стало б. Обоим». Автобус тронулся, я так и остался с поднятой рукой под раскачивающимся фонарем.

Близость с ней была невозможна. То есть дольше секунд невозможна. Содрогаюсь, он изливался прежде еще, чем войти.

Войти, вспять растущим, обмякшим, пустым, тычась в ее плечо разоренным горлом.

И помнишь, сколько их, этих ночей, дней, кроватей, ковров, трав, крыш, вод, где мы отвоевывали по крохам — себя друг в друге.

И что мой опыт, что йога твоя — они стояли, глядя на нас из углов, не понимая, не веря этому одному, мокрому, как узлу, который не развязать зубами, сроемся с со-

бой, сиаемскому, одному, стареющему на полу — духу, вздрагивающему подвернутыми руками.

Это не близость, нет. А что? Лента Мебиуса, где одна сторона — я, а она — другая, то есть та же, вывернутая, то есть я?

Не помню. Я не помню лица ее, я не мог его видеть, на мое оно было надето.

Рук не помню, она вдела свои в мои.

Чей был голос меж нами? Кто дул этот пепельный голос меж нами без губ?

Как назвать это — ритм? — то, чему следовал за тобой? Ритм? — тот, который ни головой не высчитать, ни животом, ни сердцем.

Ритм пляшущих языков пламени, и я следовал за тобой, ритм речных перекатов, я следовал, ритм растущего дерева, следовал, а потом уже и не скажешь, что за *тобой* или *я*, потому что уже не было ни меня, ни тебя, ни ритма, ни времени. И вот там-то, оттуда и начиналось всё, то *всё*, о котором ты, уже на другом берегу, мне шептала в шею.

Ритм снегом покрытой земли, ритм восходящего света, ритм смерти цветка, этот внутренний, неочевидный, тобой оставляемый след.

На чем же это держалось всё? На ходунке слепом, сваченном дрожной нежью — там, во чреве твоём, в жиденьком инфракрасном свете?

Так огонь добывали, да? — пока воды росли, становясь небом.

Одно не держится, не на чем одному держаться.

Мы ведь с тобой — одно...

ФРАГМЕНТ 32.1

Левый глаз у него постился, правый в недоумении косил на левый.

Расстояние между ее коленями было — как меж звездой и хлебом.

Она обитала ни под, ни над, ни вполуха к тому, что между.

Он — пояс верности на тиране.

Она ресницами шевелила во сне, как муха лапы передние потирает.

Он — в глаза никогда, как глухонемой — в губы.

Она — чуть в сторону от него, с поправкой на ветер как бы.

Суккуб с суккубом,
жизнь покуривала их, как травку.

Они читали

(она, пробежав страницу
взглядом по вертикали — смычком по струнам,
щурила близоруко улыбку свою — к костру и
обратно)

о местном чуде в три лошадиных птицы.

Он — по губам и ниже, к ее плавням

(как сквозь крыло стрекозы

долго смотреть на пламя,

из лета в осень

переходящее)...

Память, дитя-анатом,

зеркальце затуманивало:

она там —

на спине, подогнув ноги и ртом алая,

снизу вверх на нем стоящая на коленях.

ФРАГМЕНТ 32.2

Если б не шла она, как лунатик, по краю себя, по краю...

И потом — эта ее чистоплотность во всем, начиная с речи:
будто кошка, лапой задевши лужу, прислушивается, замирая
вполоборота, и, передергивая предплечье,
лапы отряхивает попеременно;

так и она — к слову.

«Для Боженьки чистить зубы», — зеркалу говорит.

Куда же,

думает он, ей падать? В небе ль стелить солому?

В сердце ли?

«Мягко стелешь, — она усмехается, — дух овражий».

Взгляд его, расплетаясь, ищет ее.

Не пахнет

свет от нее идущий — лунный?

Как масло пахтай

льнущую пустоту.

Или почесывай за ушами

осень воспоминаний.

С ним она? Да, пожалуй.

Но — как пора, не ближе.

Но и не дальше, — ниже блуждающая игла

шаткое равновесье жизнь ее затаившей

фразы:

была бы я счастлива, если б могла.

ФРАГМЕНТ 32.3

Так и жила. Мебели скрип, занавеска, тихих зеркал семья,
сон ее обступившая, где она распускала себя как пряжу —
девочка с тикающей головой,
но у третьей, последней стражи
вскрикивала, сворачиваясь клубком, как змея
в обороне.

Будто вязкая грязь меж подметкой и каблуком —
обшаркиваешь ее, да не тут-то было, —

нервничала одна,

другая — с кругов распила

неба древесного слизывала проступавшее молоко.

И пока она слизывала, третья кровью сплевывала на живца
трижды —

сына ль? Духа?

И бог весть кого удила,

не пробуждаясь уже.

И в разводах ила

из воды поднималась кукла с чертами ее лица.

Кто я ему?

И так всякий раз повторялось, когда

он между ними распластывал слепо когтистую диву:

девочка с бантом, сидящая у изголовья, не отводила

взгляда от смерти, и ни одна семерых не ждала.

Кто я ему? — не сестра и не дочь, не жена

вчуже, не мать.

Девочка зеркальцем жадно слепила

диве в глаза

и, старухой прижавшись к окну,

с того света ловила

отблески этого —

зеркальцем девичьим.

Так и жила.

ФРАГМЕНТ 32.4

Речь его...

Но еще раз о ней: как мерцающий голоцен
с простоволосым солнцем в тающей глыбе льда.
Ад их встречи справа налево первой прочла она.
Он — как глаза встречаются разные на одном лице:
топь янтарная у него, у нее — как морозный ясный
день.

Речь его чуть поддразнивала отношење
крена яхты к направлению ее движенья,
и она отвечала ему волнообразно,
перебрасывая с волны на волну.

Кровь меж духом и телом, демон.
Шесть ошибок в слове любовь он делал.
И она, исправляя, еще одну.

Мир сжимался на южный манер сапожка,
но ему еще мнился тягуче-снотворной долиной
между молью молитвы и шерстяным цеппелином;
ей — кошачьим пробелом в когтистых кавычках прыжка.

Отче, — шепчет она, как в волшебную дудочку.
Отчим
наш, повторяет он, глядя, как девочка за окном
от зари и до темени снежный ком
перекатывает.
Как яйцо от порчи.

ФРАГМЕНТ 32.5

Потому что она не казалась: она была.
Потому что черты лица — вопрос гравитации
между частным и общим.
Отчего бы ее сестра
между жизнью и смертью венки заплетала, Горацио?
Тьмы их — с лица необщим (это, скорей, о нем),
жрущих воздух в борьбе со своей тенью.
А ее дыханье было сродни растенью,
передвигающемуся меж сущих, как морской конек
под водой.
Потому ее так огрело его животным
хохотом у витрины с чудным уродцем —
бородато-субтильным яйцом болотным,
сотней игл утыканным. «Рыба-солнце» —
ярлычок во рту чуть поблескивал.
Наводя
на предмет резкость, мы теряем его из виду,
думал он, возвращаясь в ее обиду —
к той подушечке на иголках для шитья-бытья.
Так и жить бы им порознь. Разве что их роднило
то, что обоим в лица, как в выбитое окно,
с воем мело.
Стало быть, судорогой свело
Божьей.
Иначе б не отпустило.

ФРАГМЕНТ 32.6

Легче представить себе существа, живущие по субботам,
невдалеке от тех, кто живет по вторникам, за горами
времени.

Или представить себе так называемых нас с вами.
И даже тех, кто дышит одновременно во всех временах года.
Все, что угодно, или почти все можно представить.

Но не ее.
И не в границах воображения дело. Скорей, в языке,
ей сопричастном, от здешнего отличающемся, как копье,
исчезающее из виду, от сквозняка в разжимающемся
кулаке.

Скажем: *она не от мира сего*, или что-нибудь в этом роде,
в духе народной мудрости или пошлости — что одно и то ж.
Более внятные отношения меж дядькой и ягодой в огороде,
чем между нею и жизнью ее;
ни спиной в нее не войдешь,
ни с богом.

Легче сказать, она *вне себя* в буквальном
смысле живет —
как душа.

Легче.
Когда бы не этот камень
речи на языке.

В ближнем она — как даль, а включая дальний:
вся — словно смерть во сне — здесь.
И сон ее полигамен.

ФРАГМЕНТ 32.7

Думать о ней, словно пальцем водить по радужной
оболочке.

«Знаешь, — ему говорит, оседлавши себя на скале, —
ты, как Иосиф, во мне непорочную деву с колен
поднимаешь. — И, расплетаясь: — В тамбуре электрички».

Думать о ней, словно воздух сучить меж рукопашным
шивой
птицы незримой и тенью ее, вьющейся по воде.
Как называется то, что в своем проявлении не фальшиво?
То есть мысль о ней пробирается мимо людей,
холку пригнув, принюхиваясь и озираясь на них.
«Хотя
что, — спрашивает, — в своем проявлении лишено изнанки?»
Счастье ее — как горошина в пятилитровой банке
перекатывается. Как ангелом брошенное дитя.

ФРАГМЕНТ 32.8

...сувенирная травма рая.
Семь дней отмерь —
и отрежешь ушами зайца.
Лабиринт, утопленный в воске, укладывается в конверт,
и круги по воде расходятся отпечатком пальца.
Не прощай. Адресат *мы*,
говорят, выбыл из настоящего.
Ой ли.
Он ли угол кроил у той вдовы,
между прошлым и будущим голосащей?
Жаброю немоты, выюшкой от ладошки —
там ли жизнь твоя, любушка на горошине
дня?
Ты ведь:
то, что вверху — время, внизу — пространство.
Собственно, ничего не случилось — *там*.
Здравствуй.
Можем махнуть, не глядя, наши с тобой *люблю* —
будь они счастливы, их личины!
Адресат не имеет ни следствия, ни причины;
складываются величины, равные не нулю.
Здравствуй, моя ни-сложить-ни-вычесть,
не развязать губами ночь твою на плече
здешности.
Две и более душ составляют нечисть.
Плод оттого и райский, что его точит червь.

ФРАГМЕНТ 32.9

...его голос в нигде оседающая, как пыль.
И, как пыль, слепота под ладонью тепла.
Пил,
не закусывая. Как бы закусывая удила.
Или скрипку удерживая на весу
подбородком.
Так год за годом —
как лиса, хребет выгибая, уходит в воду
с головой, чтобы нечисть, вскипающая на носу,
отплыла нефтяным пятном со шнурком с исподу.
...или скрипку удерживая.
Ю — сосущая из сердец
лбось, растущую лбом ко лбу.
Так за кругом круг думал он: гребу
в два весла, только греб одним.
Как пьета, накрывая борт, отражаясь там
нефтяной воронкой в расплет тропы.
...или память, прядущая по пятам
за самой собой — как за ветром пыль.

ФРАГМЕНТ 33

Это потом только он стал различать: худенькая, размашисто-легкие ноги, танцующий ветерок меж ними, родное, с утренним щебетом и волновым восходящим светом тело ее, и лицо — весеннее, к небу поднятое, и веселые волосы чуть набекрень, из-под челки — две голубые тайны, одна распахнута, другая подрагивает, блажит в прищуре.

Это потом — голос грудной, губы с чуть приподнятыми уголками детства, теплые нежные, почти как воздух, когда его осторожно берешь губами, приехала из глубинки навестить подругу...

Это потом только: будто луна и солнце на быстрых спицах вяжут друг друга наперегонки, и кажется, что луна снизу, а солнце сверху, встречаясь, промахиваясь, распускаясь там, где-то под левой грудью.

Хотя, может, все и не так, особенно, когда она засыпает, уткнувшись носом в его плечо и зябкой ладонью поеживаясь в пустоте за спиной.

Кто говорит? Лишь уголек сигареты плывет в тумане, погас.

В тумане, который сглатывает его слова, по-птичьи выклеывая их изо рта, обхватив его голову влажными мутно-белыми крыльями.

Это только потом, когда он увидел ее, будто две незримых руки: одна — ледяная — воткнулась в живот, выросла в него, добела раскаленная, щемя и дробя колкий жар, осыпавшийся в низ живота, обжигающий ноги до пят, а другая, как солнце, далекое солнце, легла на лицо.

И он покачнулся, и обе руки его подхватили, подбросили вверх, и, вихляя, земля покатила под ним.

Он не помнит, как они вдруг оказались в комнате, черный проем окна, она — уже в шелковой белой сорочке, медленно льющейся вниз, обнажая ее от плечей до груди, до... Будто рой облепил его дрожи, как тысячи пчел впи-

лись в сердце, в затылок, в глаза. Он почувствовал вдруг, что теряет сознание. И качнулся вперед, чтобы прежде, чем потерять, хоть коснуться ее.

Хоть коснуться — она расплеталась, она расступалась, как море, под ним — хоть коснуться — со дна заплетала его, как бесплотное белое пламя — коснуться, проснуться, поверить, вдохнуть — она на ковре, на спине, он над нею, на ней, они движутся от угла до угла, запрокинув лицо и друг в друге топясь и выпрастываясь толчками, прихвативши губами губу друг у друга, кривясь головами, ногами скользя по ковру, от стены до стены, пока голова ее не начинает затылком постукивать о цветочную рябь полустертых обоев, и, просунув ладонь меж стеной и затылком ее, развернувшись, обратно — к той, дальней стене и обратно. Всю ночь.

И к рассвету он видит себя на коленях стоящим на маленькой кухне, под умывальником, у мусорного ведра, и она на коленях, точнее, на трех, спиной к нему, правой рукой, соскальзывающей со стены, пытаясь — что? — встать? Нет, ни он, ни она уже встать не могут, ног нет, рук нет, даже кожи нет у нее на спине — лепестковая, до кости, только дрожь одна и осталась, и она, эта дрожь, еще продолжает накатывать и отступать, накатывать и отступать — за бесчувствие, за забытье, и все ниже кренясь на игольчатых сбитых коленях.

А потом он садится в поезд, и еще в один, и еще. Маленький, свернувшийся калачиком, заснеженный городок. Он подходит к ее окну, видит ее, подняв голову, как сквозь патину, сквозь морозный узор стекла, она смотрит ему в лицо и не видит — во тьму со света, и в лице ее тихое грустное счастье поет без голоса.

И он входит, берет ее на руки, вглядывается в окно: улица вся черная, безжизненная, только одна вывеска догорает, заметаемая снегом: З...ГС.

И он опустил ее на землю, лишь когда они вышли из этого ЗГС, и она все никак не могла собрать расползавшие-

ся губы в это щекотное слово: *жена, жжжена*, а он, будто дул на ее ладони: *мууж, муужжжж...*

А потом тормознули автобус, пустой, и кружили на нем по городу, танцуя, топчась в этом узеньком зябком проходе под хрипящее радио до утра.

Это только потом, в другом городе, в толчее, она вдруг прижмется к нему и, на вдохе, будто это последний и в нем — весь воздух жизни, выдохнет: *я люблю тебя, я тебя так...* И ее от него будто стешет толпой, он увидит лишь руку ее над плывущими головами, отдаляющуюся.

И эта ладонь ее все еще там, над головами, машет ему, ему ли?

Не Елена, другая. И все корабли — от начала времен и до скончания дней — разворачиваются и плывут на ее затуманенный свет над волнами.

Все журавли, весь корабельный их список выворачивает в небе свой угол и летит вспять на это пятипало рас- тресканное зеркальце — туда, где восходит солнце.

И он чувствует, как слабеют его очертанья, и не только его, но и всего вокруг, как оплывают границы, черты, как на глазах затуманенных все сплывается в шар восходящий, в котором нет ничего, кроме этого выдоха света. Свет, отлетевший, как шар с перекушенной нитью.

ФРАГМЕНТ 34

На земле, в полосе света, падающего от окна, за которым слышен стук печатной машинки с этими вот словами, а теперь стих, и человек подошел к распахнутому окну и смотрит со второго этажа на полосу света, в которой стоит кот, — стоит кот.

Кот этот до паденья Империи был королем этого края. А теперь — Лир в бурю. Без Глостера обочь и Корделии в перспективе. Годы, как он оглох.

Дважды годы, как длится для него эта буря. Для него, потому как, например, сейчас в округе безветрие, лишь цикады в тиши. А он стоит, вскинув передние лапы над землей, будто буря метет в лицо, приподнимая или, как взнузданная лошадь, заваливаясь со свечи.

Шкура на нем — белая в облезлых подпалинах — как мантия, косо сползла с загривка, под ней — голые ребра, свиристящие ветром. Талый крохкий лед головы, две оплывших промоины глаз.

Он говорит, он идет против ветра, укрываясь от него руками, топчась на месте, и говорит. Годы беззвучно сипит ртом — седым, беззубым, залепленным ветром.

Пол-округи — дети его и дети его детей, и так до моря. Один из них сидит перед ним на бровке, выбеленной профаном, сидит, как микельанджеловский мальчик, вытаскивающий занозу. А тот стоит перед ним и сипит, не падая, будто ветром подхваченный под микитки.

Человек, глядящий из окна, держит в руке открытку, написанную крупными валкими буквами на ломаном русском. А внизу приписка: *как там карол Лир? Посидим у мора, поговорим вдаль... Целую. Сильвия Кармен.*

Он дважды перечитал, получив ее утром, прежде чем вспомнил. Эта песнь песней в черном ливне волос и просвечивающим сквозь него ярким влекущим, горделиво выгнутым ртом, приехала в северную столицу из Марбурга

изучать русский, остановившись в коммуналке у его друзей, где он и познакомился с ней, за двумя чашками чая успев рассказать и о море, и, как видно, о Лире, о лироморе, и пригласить погостить.

Рот ее танцевал, отдаляясь: алый сквозь ливневый черный.

А жена человека жила в соседнем городке, чуть покрупней, поосанистей здешнего. В маленьком, увязшем в земле доме, в конюшенном дворике рядом с Царским дворцом, куда они переехали, точнее, бежали этой зимой, бросив жилье, как идущий ко дну корабль.

Вначале ветром, неделю с воем расшатывавшим ущелье, высадило окно, и вмиг комнату запорошило снегом — с ними, лежащими на топчане, щекой к щеке уткнувшись в книжку, с ребенком, спящим на углу матрасе на полу. Они пытались заколотить одеялом этот звериный проем, но ветер отбрасывал их вместе с парусом от окна. Дом приплясывал и гудел во все трубы и щели навзрыд. Это было только начало. Они подхватили ребенка и налегке, пригибаясь, добрались до конюшенного дворика за мысом и окопались там на зиму, задраив и без того крохотные окна, казалось, стоящие на земле.

А теперь весна, и они жили на два дома, она с сыном — там, а он — здесь, с голым окном в ее сторону и печатной машинкой на простуженной палубке. А в другом окне — кот стоит в полосе света.

А у еще одного окна — круглого, в небе — Сильвия, она же Кармен, — смотрит вниз на пролетающую местность с нарастающим морем вдали. С морем, которое как глаза ее — черные, которые самые синие в мире.

И вот сидят они на пустынном берегу, одни, без луны, без солнца, спиной к суше, лицом к морю без линии горизонта, слившемуся с таким же прозрачно-серым небом. Он сидит, обхватив колени, положив на них подбородок, ее

лицо чуть выглядывает в профиль из черной волнистой хижины льющихся на гальку волос.

Она читает «Фауста» — наизусть — всего — на немецком, вторя на русском. Море лежит у ног, как вспотевшее зеркало. Чайка парит над ним, и, падая, об него разбивается, и, взлетая, вновь срастается в чайку.

В ту же самую или другую?

Тонкокожий старческий свет над водой, чуть дрожащий, слезящийся, бледно-табачный.

Они приезжают в конюшенный дворик, они бродят по парку в тумане втроем, они возвращаются в домик. По углам две кровати с пружинными сетками, стол между ними, отблеск свечи в бокалах вина. Красного. Плавает. Ребенок спит за стеной.

«Роднуля», — он говорит ей глазами, той, с которой живет, как то небо над нею, над морем без горизонта — кажется, с дней сотворения мира, кажется, дней, не идущих на убыль. Или кругами ходящих? Но, кажется, с богом в душе, и одним на двоих, а значит...

«Да», — кивнула ему, дрогнув губами, и ей улыбнулась. И задули свечу. И в босой темноте, тишине разошлись по углам.

И он вошел на коленях под черный полог ее волос, и она обернулась к нему через плечо, стоя, как и он, на коленях, и приблизила к нему лицо с приоткрытыми вяжущими губами.

И он зачерпнул ладонью это лицо, как кривую глубинную воду, и поднес к губам, дуя в нее, ухватывая глотками.

И пружинную сетку под ними накатывало на берег и с надорванным чаечным вскриком отбрасывало назад и в сторону, волоча по камням, и накатывало, накрывая их с головой.

И вдруг тихо так стало, по спине прошел холод и тишь, он спиной вдруг увидел ее — там, в белеющем дальнем углу, на кровати, лежащую на животе, к ним лицом.

Он почувствовал голой спиной, как она приподнялась, ступила на пол и бесшумно к ним движется, на ходу через голову освобождаясь от липкой сорочки.

Он отклонился в тот самый момент, когда... или это она, опустившись на корточки перед кроватью, отклонила ее от него, пригибая к себе, как тяжелую черную ветку во тьме, и они закачались, сплетаясь навстречу, на ощупь, на шепот губами.

Он, пригнувшись, пытался войти между ними, но там, в темноте, уже не было этого *между*. Была только спина — вкруговую — ее и ее, как одна, под разметанным ливнем волос.

Светало, он сидел на холодном полу у кровати, подняв голову вверх, чуть подавшись вперед, как тот кот против ветра, и смотрел, как они расплетались — еще на коленях, обнявшись в луче, отдаляясь и снова сближаясь — еще открытыми, нет, плотно сжатыми ртами.

ФРАГМЕНТ 35

Они стоят на углу Максимилианштрассе и набережной Изара, шагах в двадцати от светофора. Красный, машины идут в два ряда, их фары плывут в пелене дождя и все приращиваются вдаль, во тьме, квартала за два. Хотя час для этого города обычно уже мертвый — около полуночи.

Они стоят, два манекена, на этом узком парковом променаде между рекой и дорогой — то освещены подъезжающими машинами, то гаснут во тьме. Но и освещены не прямо, так как стоят чуть в стороне, хотя и совсем рядом, и неясно, видны ли они оттуда, из машин.

Он стоит позади нее, левой рукой прижав к себе ее бедра. В правой, чуть выдвинутой вперед, — зонт. Больше над нею, чем над ним. Она стоит спиной к нему, склонившись лицом к коленям. Растопыренные пальцы правой руки опираются на землю, левой — будто поддерживая приспущенные брюки, которые кажутся чуть темнее, чем ее телесного цвета блузка.

Дождь идет то отвесно, то чуть косит влево, и тогда зонт наклоняется, но на двоих его не хватает. Спина его и левый бок, если смотреть со стороны реки, вымокли. Но река внизу, ее даже не слышно. И не потому, что дождь или шум машин с их рэпом, взламывающим грудную клетку. Река внизу под высокой опорной стеной, едва различимой, если смотреть с того берега, где на горе — зданье Сената, подсвеченное прожекторами. Пока горит красный на светофоре, проезжает трамвай № 19, пустой, остановка Максмонумент, никого, движется по мосту и, огибая Сенат, исчезает.

Лица в машинах, стоящих перед светофором, порой поворачиваются в их сторону. Видят ли они эту сдвоенную фигуру? И если да, насколько реально? Как парковую скульптуру, гротескную, лиричную, слегка непристойную? Их лица за стеклами машин хорошо видны, даже сквозь пелену дождя. Видят ли они, что фигуры не совсем статичны? Зеленый.

За его спиной — два моста: один справа — тот, по которому прошел трамвай, и другой, левее, — маленький пешеходный, ведущий на Пратеринзель, островок с мастерскими художников и открытой площадкой для разного рода театральных действ. Тишь там и темень, утлый свет низкорослых фонарей, лунатично бредущих на остров по призрачному мосту.

Они бы говорили по-русски, если бы их было слышно и если б они говорили. Желтый. Зонт наклоняется влево. Вязкая жижица из травы, прелых листьев и глины меж ее растопыренных пальцев в скользящей по земле полосе света. Тень от фигур удлиняется до скамейки за их спиной, растет к парапету и, запрокидываясь за стену вниз к реке, возвращается чуть левей, описывая четверть круга, укорачиваясь к дороге.

Она чуть моложе его матери. Она из здешних подруг ее. Она вышла замуж в семнадцать. Приехал златокудрый немец в небольшой городок на Днепре и вернулся с ней, окольцованной. Дом на спальной окраине города, огород. Шапка солнца надвинута до бровей и глаза голубые, а за ними — отлаженный сумрачный механизм: тик-так, тик-так... и — двухнедельное забытье на Мальорке, ежегодно. И вдруг — паралич, инвалидное кресло, тишь, окна зашторены, середина жизни. Двадцать лет, день за днем, она едет с работы домой — в этот склеп, где он сидит лицом к стене, не разжимая губ и не прикрывая глаз. Девочка в ней, безудержная, не наигравшаяся, загнана внутрь, бьется в груди, как бабочка в горящем плафоне.

Девочкой могла бы быть эта женщина, думает он, отводя зонт влево, правой рукой прижимая ее к себе, девичью возраста его дочери. Красный.

...глядел в одну точку, сидя по горло в тине своего инвалидного кресла. Спиной к включенному телевизору, не слыша его, глядя в одну точку — неподвижную на плывущей стене. Точку смерти, не помнящей свое имя. Смерти,

развернутой к нему своим белым затылком. Так же, как он — к мелькающему за спиной экрану. Два шланга из живота: один для отвода воды, другой земли. Руки на подлокотниках. Она приходила, меняла пластиковые кульки — полные на полые. Губ он не разжимал. Кажется, и по ночам не прикрывая глаз, держа эту нить натянутой — между зрачком и точкой.

Полиция по осевой, на красный. Сирену было слышно еще квартала за три, где-то за костелом св. Луки, на двери которого прикноплено расписание: утренняя служба — , вечерняя — , а между ними — время для осмотра выставки абстрактной живописи.

Да, чуть моложе его матери. Худенькая, как дымок от сандаловой палочки. Следит за собой. Йога, танцы с травками. Нет, не так, как сидят на яйцах своей жизни, лелейщики своих сосудов, его всегда коробило от этого «возлюби...», как правило, этим собой драгоценным все ближнее и кончается, этим горшком цветочным. Но и не по-дворняжьи...

Кто-то ему рассказывал о бомже, которого подобрали спящего на обледенелой скамье и с нетающей сонной улыбкой привезли в больницу, переодели, смыли с него весь защитный слой, и он впервые в жизни очнулся разбитым, больным, цепляя на ходу все на свете болезни, и через несколько дней помер.

Да, а другой случай: шел пьяный, мороз под тридцать, подходит к дому, берется за ручку калитки, и вдруг смерть в него входит — от пят до волос, стоя. Так и стоит до утра — мертвый, держась за ручку калитки. Светает, люди идут на работу, мимо. А он все стоит.

Нет, без крайностей в ней. Такой полевой букетик в петличке меж ними, меж этими крайностями. Полевой, да не все цветы в нем по имени назовешь. С тех еще, лунных полян по-за хуторами, де эхо лунае, и этих — альпийских, бутиковых.

И этот вопрос назойливый кажется неуместным: что, зачем он там, на углу Максимилянштрассе и набережной

Штайнсдорф, этот мокнувший под дождем иероглиф из двух соотечественников с разницей лет в поколение? Не любовь, и не страсть, и не близость... Хотя б потому неуместный, что задать его некому; не ей ведь и не ему. Может, неба ей чуть не хватает. А ему? Земли под ногой? Нет ведь, не скажешь.

Если сбоку смотреть, особенно, если зеленый на светофоре и фары скользят по ним, их перелистывая: будто две голые псины, худющие, в рост человеческий, одна обхватила другую, стоя на задних и запрокинув лицо. А шкура у ног дрожит. Расходясь кругами, как от той церквушки в воде.

Это всегда так с близостью — не один и не два, не вдвоем, — между. Какие-то полтора. Так, наверное, и корабли себя чувствовали, как полтора — с этой фигурой женщины на бушприте. Пятками к корабельному носу и телом, над водой скользящим, кивающим. На весу, чуть впереди, то есть на все ее, женщины, тело впереди. Спина к небу, лицом к воде, меж тем и другим скользя вдаль, пятками от корабля — будто бы оттолкнувшись.

Этим вечером, часа три-четыре тому, еще лишь накрапывало, они сидели за рекой в Муфатхале за барной стойкой. Муфатхале — это как губы ее, когда он взял в ладони ее лицо и нечаянно поцеловал, нечаянно долго. Мууфаатхаалле. Нежно-вяжущие, одатливые, чуть влажные от шартреза. С этим теплым, как в детстве, даром — обмирать, затуманиваться, останавливать время.

Губы. А когда приходишь в себя, отдаляясь от губ, видишь милый ее, накладной, как у клоуна, нос — бульбочка украинская. И глаза — черные, девичьи, со слюдинкой.

Зонт взметнуло, как юбку ветром, вывернуло торчком. Так и стоит, не поправляя, с этим черным букетом в руке над мокрой ее спиной.

Шляпа по кругу, и каждый из нее тянет свой жребий, то есть роль, которую должен играть с той минуты, как раз-

вернет записку, и до захода солнца. Май, воскресенье, Остпарк, солнечная поляна, день рождения его матери. Шашлыки, вина, разгар веселья, а теперь шляпа. От роли ни отказать, ни выйти до заката нельзя, такой уговор. Она тянет свой жребий: «дитя, 13 кг». И как-то вдруг ее потеряли из виду, а вспомнили много потом, к вечеру. А она переметывалась по всему парку до отдаленных его уголков, цепляясь за руки прохожих, дитя, брошенное с вымершими от слез глазами, тянулась на руки к столбенеющим с idiotичными улыбками старикам, ползла под детские коляски. А потом появилась на поляне в грязном изорванном платье, пучок травы изо рта торчит, хнычет и на четвереньках ползет к обрусевшей немке, которой выпала роль «слепой», и та ощупывает ее у своих ног, запрокинув незрячее лицо к небу, и опускается на землю, а она зарывается своим картошечным носом в ее грудь, разрывая руками кофту ей на груди, не зная, как расстегнуть, а седовласый австриец, карикатурист, а теперь «маньяк» по жребью, стоит над ними и гладит обеих по головам, и помогает им встать, и уводит в сторону леса, над которым солнце уже садится.

Иероглиф пишется на выдохе. Выдохе сквозь руку. Видимо, в точке их соединения — его и ее — выдох чуть подсекается, рука дрогнула. Ну не то чтобы дрогнула, а как-то близоруко замедлилась, что ли, смягчилась. И они оба чувствуют этот несколько вялый расплыв. Но, скорее, внутренним зрением. Внешне начертание по-прежнему держится на как бы одном выдохе.

Похоть, вряд ли это то слово, оно кружит где-то на умозрительном расстоянии от них, прищур влоборота. Возбуждение? Да, но столь же монотонное, как этот дождь, — то ровное, то чуть косит. И краткие всплески порывов — бог весть откуда, как с зонтиком — юбкой взметнувшимся — вдруг.

Однажды они случайно столкнулись в Хилтоне. Он зашел глянуть выставку в холле. Былолюдно. Оказалось,

фуршет в честь вхождения в должность нового украинского консула. Взгляды обращены к трибуне; видимо, там консул, но рост его ниже ящика кафедры, и когда он приподнимается на цыпочках — виден лишь узкий, как след от резинки от трусов, лоб и над ним — пологий, чуть припушенный пригорок головы. К шапочному разбору консул остается в холле едва ли не последним, допивая остатки водки со столов, и, как бурку, набросив на плечи пальто, пытается клонуть поцелуем мокрую руку красношекой посудомойщицы...

Они идут по городу, о том, о сем. Она спрашивает о самом ярком воспоминании в жизни. И тихо добавляет: с женщиной. Он все отшучивается, но как-то слово за слово... Не любовь, говорит, вряд ли, но близость — да. Пусть так, повторяет, близость, скажи. Он начинает рассказывать и увлекается. Нет, ничего особенного, то есть небывалого на земле. Одна ночь. А наутро расстались. И месяцы затяжной контузии, что ли, транса. Нет, не расстались, одно не расстается — рвется, с мясом, на два неравных. Тел своих, если уж говорить о телах и душах, тел было не найти. То есть они лежали повсюду — ее, его — вразброс, но — не войти в них. Как лампы — кажется, еще теплые, перегоревшие.

Не это он ей говорит, не так. Без комментариев, лишь канва, легким цветным мелком.

Ночь, они сидят в маленьком китайском ресторане. Да, он немного увлекся, теперь он видит. В руке у нее палочки, чуть в стороне от тарелки, подрагивают. Рот как-то беззащитно приоткрыт, и глаза влажные поблескивают, как маслинки.

— У меня, — говорит она, — никогда, — и переглатывает, — счастья такого... — Встает. — Извини, — говорит. Идет в уборную. Возвращается.

Нет, это уже в другой раз было: возвращается, роза на столе, белая, на длинном стебле. Цветочник проходил, он купил, она возвращается, два бокала на столе — «кьянти»,

она окунает розу в бокал — на пол-лепестка, медленно, все происходит медленно, они молчат, вынимает, слизывает, нет, берет губами. И не она, другая. И он напротив нее сидит, солдат, в полевой, русской. Для голубых рестораничек, на Блюменштрассе.

Десять лет он сидел, глядя в стену, не разжимая губ. А потом перерезал горло себе. Кухонный нож, тесак, так и остался в руке — острием вверх. В начале двенадцатого, как установили потом. Она на работе была. Недели две как открыла маленький магазин женского белья. Несерийные вещи, порой чуждые, порой чудные. Неполный рабочий, часов тридцать в неделю. В остальном — дом, огород. Крапива, шавель — на суп, и прочие ностальгические радости. Да, вот еще — ремень, на кисель. А в тот день она наряжала манекены в витрине. Лифчик, потом трусы, одной рукой придерживая, чтоб он, наклоненный, не падал. Потом выйдет на улицу, смотрит. Нет, не то, снова переодевает.

Голова свешена, глаза открыты, на острие ножа глядят, в крови всё. И трубка вдвоенная из живота выдернута. С этими мешочками на полу. Один с водой, другой с глиной. Это тогда еще, в первые дни сказал: вода, глина. Да и не ей, в стену сказал. И умолк — на все эти десять. Почти десять. В июне было б. И — ни записки, ни слова.

Легкое у нее тело, легкое и летучее. И всегда, что бы ни было на ней — шубка ли, платье, — казалось, надеты они на голое. Тонкие полупрозрачные ткани. Если черное, то с серебром, и ремень наискось — от осиной талии к высокому вырезу в юбке на бедре. Черное, но с ярким клином каким-нибудь, врезом косым — желтым, красным. Влекущее, легкое и летучее. Летуче-тягуче-одатливое. Как в танцах тех — румбе, танго — тамошних.

Ходила ль она туда, куда, казалось бы, так наряжалась? На вернисажи, концерты, на вечеринки? Или не для того она так наряжалась? Красный. И поясок на ней красный. Как обруч висит. Отверстия на три свободной. Или даже на

пять. Он берет этот обруч, зажимает в кулак, подтягивает ее к себе тесней, мокрое к мокрому, они покачиваются, схлестываясь, хляп-хлюп. Трамвай этот — последний, наверно. И дождь, похоже, стихает.

Ни концов, ни начал, думает он, не страдает она клаустрофилией — жизнь, то есть. В отличие от литературы.

Что? — поднимает она лицо к нему.

Нет, говорит, ничего. Дождь кончился, это с деревьев...

Они идут по мосту, он хочет остановить такси, она удерживает его за руку. Занавесила ли она то место на стене, куда он смотрел, картиной или еще чем, думает он, глядя на ее ладонь на его руке, в которой он все еще держит этот вздернутый юбочный зонтик.

Зайдешь? — спросит она у двери. И как-то неловко, второпях ткнется лицом мимо его губ.

II



ФРАГМЕНТ 36

История такая. Сердце Сати (Парвати), жены Шивы, разрывается между враждующими мужем и отцом. Разрывается буквально. Мертвое тело ее Шива берет на руки, прижимает к груди и ни на миг не расстается с ним — ни в миру, ни в битвах, ни в медитациях. Годы спустя Вишну, стремясь утишить его печаль, рассекает тело Сати-Парвати золотым диском на мелкие части и взметает к небу; возвращаясь на землю, они расцветают садами — Бхаратом, Индией, родиной тех, кто живет на разрыве сердца, на женщине, на любви, на сломленном боге творенья и разрушенья.

ФРАГМЕНТ 37

Имя у нее было осеннее, стелящееся под ноги, густое, травное. Вместе с тихой цветочной геральдикой ее фамилии вызывало состояние легкого обморока. Имя, глаза и худенькая, вся испещренная зыбкой ветошью линий ладонь. Ксения.

Смысл нашей истории становился все непроглядней. Мысль об Индии возникла как бы случайно, в тот же день мы получили визы и взяли билеты.

Сны комкали дни, перекладывая их из руки в руку, змеи дышали в лицо, затуманивая его, как зеркальце. Чувства, спешась, вели на поводу судьбу — углами.

Жила она напротив церкви — стеклянной, серебристо-черной, как рентгено снимок, меняющий окрас от светопреломлений. Прозрачный лифт в прозрачной колокольне, выход в небо. Тишь улицы, в чьем имени любовь и смерть прикипели друг к другу, как в мороз язык к железу.

Я подходил, глядел в ее окно — на солнечные свастики верблюдов, бегущих ряд за рядом по талому снегу задернутых занавесок. Уходил. Спиной вперед. И возвращался. И она кружила — незримою рукой вперед — по городу.

Предчувствия душили.

Врозь. С собою врозь. Треугольники комнат косили из углов, скрадывая себя вращеньем.

Черно-белая спальня, с нами на ощупь. И цветная, зажмуренная тьма светелки — ее, без я. Ушко коридора.

Май за окном. Майя неба с собачьей будкой — пустой. Бледные искры реки. Перевернутые лодочки ладоней.

Почему бы и нет, — сказала она, опуская их в воду.

Искрило. Прошлое стояло во тьме за спиной, как живой и притихший мешок изнутри, затянувший свою горловину.

Оставалось несколько дней до отлета туда, откуда, как известно, с тем же именем не возвращаются. О если бы только это, — так я думал тогда. *Пожать руку воздуха.*

ФРАГМЕНТ 37.1

Странно. Необъяснимо. Смотрю на нее и не вижу, смотрю, приближая взгляд издалека, из *потом*, и не вижу, не чувствую ни себя, ни ее рядом. Почему так? Почему чувства, как ветви, цветут, и поют, и стонут от этой нежной тяжести, а тебя будто нет за ними? Будто от пят до волос стоит, налившись, этот глухонемой высоковольтный гул.

Может, причина в этом «флатерне» при переходе барьера, в смене мира? В том, что этот мир втягивает тебя в себя, как верблюда сквозь ушко игольное, и тебе не пройти с воспаленным горбом твоей жизни?

Этот заплечный мешок свой ты подберешь потом, там, за ушком, если пройдешь. Тот же мешок подберешь, и уже не тот. Как и ты не тот уж.

И она обступает тебя со всех сторон, всасывая в себя твою ладонь, глаз, ухо, перестраивая твою кровь, дыханье, она всасывает тебя всего, до дна твоих снов, до капли, всего... или ты остаешься по ту ее сторону — со своим горбом.

Но может, дело не в ней, не в Индии? А так совпало — ты, она, Ксения — стянулось в узел, сплелось в этой подвздошной точке твоей судьбы? У каждого ведь она своя — *индия*. Не страна, разумеется.

И начинается странное, эта подмена или, точнее, смешенье с двоеньем двух женщин, втягивающих тебя в себя по разные стороны, и в то же время внахлест — Индии и Ксении.

И в первой — все то, что так не хватает последней.

Не потому не хватает, что этим ее обделила природа. Напротив. На редкость ее одарила. Но дар этот в ней будто вытеснен в погреб, и пальцы его будто дверью защемлены.

И, быть может, отчасти эта моя вовлеченность в близость с Индией как с женщиной на глазах у Ксении, на самом деле желание близости с Ксенией, попытка разжать эти пальцы.

Но говоря так: «на самом деле», я едва ли догадываюсь, где, и когда, и из каких цветов собран этот букет дурманящий, от которого в глазах двоится.

А с ней? Могу ли я поручиться, что *на самом деле* с ней происходит не то же самое, что и со мной?

— Знаешь, — говорю, — такое чувство, будто мы срослись спинами.

Куда говорю? Туда, где ее нет. Перед собой глядя. И она говорит туда, где меня нет, спиной ко мне. И как бы мы ни пытались вывернуться лицом к лицу, меняется лишь сторона света перед глазами, и все та же слепая горячая тьма приливает к спине. И все тот же озноб между ними. Как стекло дребезжащее.

— Ты посмотри, — говорит, — какой свет волшебный. Там, за рекой. Да нет, говорит, не там, обернись...

ФРАГМЕНТ 37.2

На следующий день мы отправились в Гималаи к истоку Ганга.

Я не знал, что в ту зыбкую ночь перед вылетом в Индию, между нами, кратко забывшимися во сне, легла смерть и, повернувшись лицом к Ксении, назвала ее день: восьмой.

Это и был восьмой. Она нервничала. Все шло через пень-колоду. В джипе на девятерых я был семнадцатым, с краю. То есть сбоку от джипа, будто на яхте, откинувшись от борта. Дорога — на многих участках не шире колес — вилась серпантином над мглистыми пропастями. Повороты — градусов до трехсот. Машины, сближаясь вслепую, сигналият и, не сбавляя скорость, закладывают вираж, и — доля секунды — удар? Нет, стоим. Между бамперами не протиснуть и пальца.

И начинается умонепостижимое — этот медленный танец разезда двух джипов, где каждый — одним бортом прижался к скале, а другим — над обрывом. Шоферы — как богомолы — рука на руле, другая приподнята, согнута в локте. И не шелохнутся. Осанка. И смотрят: глаз в глаз. И — неуловимо ресничные жесты друг другу. И — движутся. Но на дорогу не глядя. На слух!

От Ришикеша до истока около 250 км — день езды со сменой джипа в Уттаркаши. Оттуда дорога еще круче. На рыночной площади, в этом адском вареве машин и людей, я на миг зазевался и, вскрикнув от боли, еще успел отскочить в сторону: белый «амбассадор», тихо катившийся вниз без водителя, ткнулся задним бампером мне в колено.

Ксения настаивала на немедленном возвращении. Какие тропы, какие ледники с такой ногой, — нервничала она, глядя как-то вниз и в сторону от меня. Я пританцовывал, пытаюсь отвлечь ее от позора. Решили: если не трещина, не перелом, то — к истоку. Она промолчала.

Допотопный рентген был найден в картонном домике в конце узкой улочки, выходящей на пустырь. В течение получаса брешь в стене была залатана и недостающая дверь навешена. Рентген делал мальчик лет девяти на вид.

Ушиб.

Шоферы отказывались наотрез — на ночь глядя. Уговорил на 30 км по пути — до ущелья «Горячая весна».

Только когда он высадил нас и, развернувшись, исчез, мы поняли, почему он с такой легкостью согласился нас подбросить. До оазиса оставалось едва ли не столько же — но уже по взвившейся от земли дороге. А это селенье, точнее — гноющаяся корочка по сторонам от надреза дороги, также звалось «Горячая весна».

Безжизненные, чуть сковырнутые струпья построек. Шрам дороги, как бы продавленной заржавленным тесаком, и присыпанный теплой золой по-живому. Утлый слезящийся свет. Без ашрамов. Ущелье, в которое солнце косит лишь часок.

Семиколенные катакомбы дома, по пояс выпростанного из земли, безмолвной и голой, такой же, как этот молочавый старик, ведущий нас по его галереям, лепящимся к скале над пропастью.

Майка на нем — как продырявленный воздух над полем после стихнувшей битвы.

Впереди он, за ним Ксения с ладонью на мутящемся животе, чуть согнувшись от резей, и за красным светофором ее рюкзака — я, полутораногий.

Комната. Лысая лампа с мигающим светом на жилистом шнуре из вспоротого потолка. Мятые глинобитные стены. Косо припавшая к склизкому полу кровать, без белья, с прожженной дырой в полосатом матраце. Дверь, поскользнувшаяся в петле, подергивающаяся, полуживая.

За ней — выход, скользящий к пропасти, без ограждения.

На кромке — будка туалета с боковым, на уровне груди, вентиляльным краном для душа. Двери нет, в будке — человек в одежде, на корточках, обняв голову, под открытым краном.

Ксения распластана на кровати, лицом в матрац, излучиной, у дыры.

На стене — насекомое, похожее на раздавленный нежно-красный куст; выплетается из себя, прорастая.

Темнеет. Лампа мигает, как глухонемой, все настойчивей. К выходу, которого нет.

Чувство такое, будто отсюда не выбраться. Никогда. Все, как мокрая скользкая глина, плывет. Под ногой, под рукой, нежно-красная, под хрусталиком глаза, под плывущей кроватью во вспышках икающей лампы, под Ксенией, в ней, между нами, во мне.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко, — бормотал я, выхрамывая из катакомб на дорогу — пустынную, мертвую. Да и ей ведь не больше, чем на ушко, на одно только слово. *Ты...*

И топорщится нить, препираясь, и мигающий свет, и ни пальцев, ни губ. *На игольное только ушко.*

Нельзя, — бессмысленно повторял я, вглядываясь в смеркающийся горизонт дороги, — нельзя, — этому глинобитному небу, — нельзя, — этому глиняному ребенку в груди, — нельзя так...

Ангел, а кто ж еще, шел по дороге. Ангел, закутанный в хлам машины. И подобрал нас.

Ласточкино гнездо ашрама. Во внутреннем дворике — два бассейна: мужской и женский, наполненные целебным кипятком, текущим из расселины в скале. И тишь. И тонкий полумесяц над ашрамом.

Один сижу — на кромке, с ногой — одной, опущенной в бассейн. Мужской.

Окно наше горит за спиной, само себе, и никого за ним. Ксения переметывается во тьме от дерева к дереву. Живот.

В соседней комнате — кореянка возраста робко зацветшей веточки, еще влажной от удивленья. Штопает что-то. Видела нас в Ришикеше.

Хозяин — рослый жилистый садху с конским седым хвостом, перехваченным на затылке оранжевой резинкой. Лежит на скамье внизу, у кухни. Черные бабочки глаз, замедленные до незренья; сводит — разводит.

Ледяной лен постели. Рука ее тянется к выключателю. Спиной к спине. Тишь. Чуткая голая узкоколейка позвоночников.

В Гонготри, где обрывается дорога и до первой капли Ганга остается 15 км тропы к леднику, мы добрались лишь на закате.

Закатный опал семитысячников, идущих в затылок в Непал. Ганг, стиснутый скалами, мутный, гремучий. Бумажная деревушка в два переулка с часовой, раскрашенной детской нетвердой рукой. Роевые паломников. Перезвон колокольцев. Пошли прогуляться.

Он сидел на корточках на шатком камне у бурного переката, и брызги заливали его поднятое к небу лицо. Голубино-фиолетовый с каким-то витражным отсветом тюрбан и такой же халат, подпоясанный черным поясом и подоткнутый под босые пятки. Ладони — на уровне груди — открыты, будто держит незримую книгу. И — голос, перекрывающий поток, на нечеловеческой ноте, на умонепостижимом запасе дыханья, направленный под скользящим углом, и как бы с подкруткой в небо, и переходящий на рваном последнем дыханьи в невыносимо пронзительный птичий — не сполох, не крик и не техканье, не... — будто сердце выклевывал и отплеывал паклями крови с резким взвизгом и кваком — туда, в одну точку над пиками гор, над их зубчато-битым стеклом.

Мы прошли еще с километр вверх по течению и присели у воды, дальше тропы не было. Я вынул из рюкзака рентгено снимок. Мы вырезали из двух больших кусков древесной коры два корабля с мачтами и, раскроив снимок, подняли на них паруса — ей выпала фронтальная проекция ноги, мне боковая. Оставался еще небольшой квадрат пленки. Она сделала из него третий кораблик, как складывают бумажный. Взглянув на него, мы оба почувствовали этот юркнувший под сердце сквознячок. Наш. И промолчали.

Пуджа — ритуальные блюда с затепленными свечами — плывут по реке. Мой кораблик и ее вослед отчалили и, подхваченные течением, скрылись за поворотом. Третий, едва мы отняли от него ладони, косо скользнул ко дну.

ФРАГМЕНТ 37.3

Ксения сидела с обиженно-заспанным лицом, свесив ноги с кровати.

— Ты... — сказала она, глядя на свои сомкнутые колени в шелковом крученом колечке трусиков. — Он стоял в проеме двери, которую ты оставил открытой, и смотрел на меня. Не знаю, как долго. Пока я спала.

— Кто?

— Тот, что сидит у *большого кувшина*.

ФРАГМЕНТ 37.4

Ночь. Лежим валетом, заложив руки за голову, на корме вросшего в песок баркаса, глядим на звезды.

— Ты кто? — говорю я, и этот вопрос тут же отбрасывает меня во тьму по обе стороны от себя. Туда, на *тот* свет, где заходит солнце, к той нашей первой ночи, когда, очнувшись, не открывая глаз, дохнул в ее щекочущую прядь за ухом этой же полушуткой: «Ты кто?»

И она, приподнявшись на локте, долго смотрела в меня, в мои полуприкрытые веки, молча. Пока я не взял в ладони ее маленькую акварельную голову и не приблизил к губам.

А на голом полу — от стены до стены — зыбко белел замкнутый круг наших догоревших имен. 14 букв, 111 талых свечных огарков.

И, между буквами, в матовых полупрозрачных наперстках — вода и вино, красный и белый. Парами. Лежащими на боку, в смешанных лужицах.

А внутри круга — припавший к полу, съезжившийся обгорелый половичок. А над ним — черная картонная луна, подвешенная к потолку на нитке.

И когда мы вчера (вчера?) в новогодний час вошли в этот плывущий огненный круг (кто «мы»? едва знакомы), и эта луна с красным контуром птицы на одной стороне и розою — на другой, подхваченная восходящим теплом, начала вдруг вращаться над нами, уже сидящими на полу и впервые растерянно ткнувшимися один в другого, и вслед за нею поплыли стены и круг огней со скошенными языками, и весь озаренный куб комнаты с нами на дне отделился от дома и, покачиваясь, отчалил в открытое небо, заметаемый снегом...

Так ли? Так и не так.

Еще оставалось полсвета меж нами до новогоднего часа, еще ничего между нами могло б и не быть.

Сказать: не должно было? Нет. Мы вошли. Как по натянутой проволоке. Ты — не знаю, но я шел по ней. Как с незримым шестом. Балансируя меж. Меж тобой и собой.

Между маленьким непроглядным пространством — там, за окном, — и забеленным временем косо сходящихся стен.

Как тугой воротник с перламутровой пуговицей окна на защемленном кадыке. Меж куражной бравадой и — ты не поверишь, но — страхом.

Не страхом, а пахом — зажмуренным, впившимся в сердце, когтящим его и сосущим, и пахом не только мужчины во мне.

Меж этой небезобидной мистерией в масках без масок, игрою в себя в стороне — по-живому, и — чем? *Бытия невыносимую легкостью?* Бы ты я? Окна в крови зажечь? Степью волка? Меж друг-другу-никто, и спиною друг к другу, спиною, когда бы не лица — глазами к глазам.

Скажешь — наоборот?

«Почему бы и нет», — ты сказала. Такой оборот.

Чуть с наклоном была эта проволока, и скользили по дошвы, семенящие вспять.

И мы ссыпали на пол эти свечные пенечки и начали составлять из них наши имена по кругу с диаметром наших будущих тел. Передвигаясь на корточках, на хордочках, по витиеватому периметру еще не затепленного круга, сомкнувшегося в общей для нас букве — в этом Уроборосе, закусившем свой хвост.

И я наливал красное вино в матовые мензурки и расставлял их по одной между буквами, а ты наливала воду в такие же матовые и присосеживала к вину — по одной. Как позвоночные косточки с воспаленным краем.

И уже ожило, подрагивая, это плывущее ожерелье в 111 разгорающихся зрачков. И мы, на корточках сидящие по сторонам его, подняли головы, медленно распрямляясь и — впервые — вплетаясь друг в друга взглядом, шагнули в круг.

И эта черная картонная луна, подхваченная восходящим дыханьем огня, начала раскачиваться и вращаться над

нами, запрокинувшими лица, стягивающими с себя через голову свитера. И полтмы с подстеленным под нее половичком оставалось еще меж нами, спиною прижатыми к арабескам наших горящих имен.

И нить времени, заскользив меж губами, вдруг натянулась, мы замерли и, прикусивши ее, отшатнулись — и ткнулись друг в друга — растерянно, немо, на ощупь — рукой и щекой, не губами еще, не губами, — испуганный детский сосок, — еще не, — скользнувшая льдинка бедра, — не гу... — плавунки ее ног с озаренною пяткою — левой, — не ...ами, — под головами вдруг вспыхнувший половичок, — и в дыму — не губами еще, и уже не губами — в этой меркнувшей мандале наших имен с безымянными нами.

ФРАГМЕНТ 37.5

В ту ночь не спалось. Луна стояла, едва вмещааясь в окно. На дереве беспокойно потягивали обезьяны. Спали мы с открытыми окнами, голыми, без одеял и уже без сетки.

Я вспомнил первую ночь здесь, когда мы, перед тем как лечь, водили фонариком по всем углам. Как, став на колени и светя под кровать, приняли тряпку, лежавшую там, за свернувшуюся змею. Как среди ночи, мучась от жажды, я все медлил, представляя себе, как я спускаю ногу во тьму, и... Всего-то четыре шага до бутылки с водой, а так и не встал.

Тихо повернулся на другой бок, смотрю на нее, спящую. Черты лица, о которых обычно говорят: *правильные*. В отличие от моих — уж наверно. Жиденькая нежная соломка волос. Асимметричное, как носят берет, чуть набок — каре. И под ладонью моей — тонкая птичья косточка темени с теплым и темным биением.

За день до отлета мы сидели в кафе на улице, вдруг все вокруг почернело и люди ринулись внутрь, прижавшись к стеклам, глядя оттуда, и столик меж нами опрокинуло ветром и поволокло по улице, а мы все сидели под хлещущим ливнем и говорили, замаливая, заговаривая друг друга. А потом сидели, прижавшись, свесив ноги из ночного ее окна, молча. И она прошептала, что если ей там, в Индии, худо станет — ну, мол, вдруг, — чтобы я ей ладонь положил на темя и подержал. И всё. А больше у нее недостатков нету.

А еще я подумал, что едва ли не все зависит от — порой безотчетного — первого импульса (слова, взгляда, мысли), которым ты начинаешь движенье. А потом это недоуменье — почему все случилось именно так? Ведь, казалось, хотело, могло и должно было быть иначе. С женщиной, жизнью, дорогой. Смысл, мнилось, проявится, все войдет в берега. Не войдет — так подправим. Ан нет, все сбылось уже там, в том нечаянном жесте, беспечном намерении,

слове случайном — еще до начала. Я подумал о капище ночи — той, первой.

И еще почему-то — о Боге-Творце у индусов, о Брахме. Видимо, по созвучью с началом. Бог этот предан проклятью. Неслыханная вещь. За что? За то, что у него не было учеников. Мириады храмов и изваяний, посвященных Шиве, сонмы — Вишну. Брахму, при всем уваженьи к нему, индусы, как правило, в этом смысле обходят.

И еще подумал — глядя на ее легкую худенькую спину, залитую лунным светом, на тонкие барханчики ребер, на ее чуть вздернутое плечо и поджато-бегущие ноги, так привыкшие к ее неусыпной самостоятельности, — я подумал, глядя на это скользящее очертанье с рукою, подвернутой под себя и заведенной за спину, — конькобежки на повороте... Я подумал, что кроме чувства жизни — живого чувства ее, — в сущности, нам ничего не нужно. Дай Бог, конечно, еще бы чуток ума — в пушкинском пониманьи, то есть с первого взгляда знать, с кем дело имеешь.

Встал, оделся. Она спала, как всегда, без признаков жизни, тише самой тишины. Поначалу меня это пугало, я наклонялся над нею, тщетно прислушиваясь к ее дыханью. Нашарил свои сигареты, взял бутылку воды, стоявшую возле нее на полу. Ее маленькие — под ладонь — курносые грудки спали, чуть отвернувшись, одна над другой. Лунные блики на животе. И небесная тучка, нахохлившаяся в межножье.

ФРАГМЕНТ 37.6

Смотрел и думал. Откуда эта усталость, вся эта необъяснимая тяжесть? Как будто я все эти дни иду в глубоководном скафандре со свинцовым грузом, пылящим за мною по дну. И держу за руку эту женщину. И рука удерживает меня.

И эта фраза, последняя, никак до меня не доходит. Чья рука? Удерживает от чего, где?

И я вспоминаю ее сон. Еще там, на том свете. Она выходит на залитую солнцем веранду. Столики, люди. Видит меня, сидящим у края, спиной к нему, за которым обрыв. Я не вижу обрыва, стул качнулся, лечу, но в последний момент успеваю схватиться рукою за край. Она подбегает, не видит меня, только пальцы. Хватается, тянет. Рывок. И в руках у нее — вся рука, без меня. Помню, как она мне это сказала. Жесткой скороговоркой, как мне показалось. С нескрываемой, как мне показалось, досадой. На выставке желтых пустынных картин, перечеркнутых наискось горизонтом. Висевших в таких же пустынных сводчатых коридорах. У подоконника. Меленький снег за окном.

— What? — произносит она одними губами, поднимая глаза ко мне.

— Нет, — говорю, — все хорошо. Спи.

Снег. Такой же меленький стоял в окне после той, новогодней.

Когда я проснулся, ее не было рядом. Записка. Взгляд выхватил сразу — из середины — спросонок: *покончить*. Чуть ниже: *уйти в тишину*. И: *жизнь* — между ними.

Спокойно, шептал я себе, спокойно, подойдя к окну и глядя на этот меленький. Сколько я ее знаю — ночь? Все может быть. Она говорила: эти волшебные искорки на реке на рассвете, когда она смотрит на них с моста, притормозив на велике, — вот что так дорого, вот где отрада... Спокойно. Здесь где-то ошибка. Меленький, чуть косящий.

И это ее еле слышное «what?» — там, во тьме, подо мною, с ее — так порывисто всплывшими к моим — нежно-встревоженными глазами.

Шаги. Ключ проворачивается, и — она на пороге. В длиннополой дубленке с заснеженным капюшоном. Виснет на мне, поджимая ноги. Руки мои — за ее спиной, и записка в руке. Смеется. Этот почерк цветущий, плюс вольный английский, плюс ночь. Пошла по снежку побродить в тишине.

ФРАГМЕНТ 37.7

Я бродил по ее притихшей квартире (меленький снег за окном), перебирая в памяти (не то слово — притихшей; немисливо было представить ее звучащей, разве только, как снег, поскрипывающей под ногой), перебирая на ощупь смутные четки этой ночи.

Вот, в огненном круге, за миг до того, как все поплыло в глазах, и впиалась ногтями в спину, вдруг из нее вырвалось — в губы: «никогда... я не выйду замуж!». И замерла, опешив от этого не меньше, чем я.

Белые стены, белая скатерть, книжные полки зашторены белыми занавесками. Антикварный сундук в углу и такой же резной комод, почерневший, фамильный. Белая целлулоидная личинка люстры на перекрученной пуповине под потолком. Белые лилии на столе.

Матерчатая белка, бегущая вниз по белой пустынной стене в прихожей. На гвозде.

И, наверно, не былъ, а пыльца, прятки воздуха, этот тихий его топоток за спиной, этот вегетативный его перемиг и стяжание складок.

И этот неуловимый, прерывистый, ниточный — не между нами и как бы не к нам относящийся — что?

Почему бы и нет, — вдруг сказала она.

Меленький за окном. Я нашел шпатель в ее кухне и счищаю с пола застывшие по кругу парафиновые лужицы с прогоревшими в них нолями. Все эти 111 *почему бы и нет*.

Топоток этих яблоч. Тихий внутренний топоток. Их сутулые спины с развернутым внутрь лицом. Внутрь. В косточку. В семя.

Дверь распахнута в сад. Между нами. Оплывшая анфилада и за нею — снежная пелена. Между нами. И, спеленатый пеленой, у беседки, незримый скрипач с раскрытым, наполовину занесенным снегом футляром у озябших переминающихся ног. Он стоит там, между нами, с головой,

чуть склоненною набок, как бы сбоку, вдоль струн вглядывающийся сквозь пелену вдаль, будто бы вдаль, но нет, не дальше ресниц и, скорее, не покидая зрачка, — в эту мнимую даль — близящейся и все расходящейся между нами — жизни.

Почему бы и нет, — сказала она, нехотя выводя взгляд из-под «его зеленых», как потом запишет она в дневнике, «гипнотично-рептильных с мотыльковым отсветом свечи на столе».

А в моих глазах все еще таяла, расплываясь, ее ладонь. Тонула и снова всплывала — как ветошь, сгрудившаяся у запруды. Ладонь, полоснувшая по зрачку тысячью ломаных лезвий своих линий.

Видимо, потому я в тот миг и не расслышал ее ответа. Казалось, это ладонь не ее, а всего ее рода — как палимпсест — вереницы ладоней, просвечивающих одна сквозь другую — вплоть до вот этой, калечной, может быть даже чистой, слепой, без линий.

Дочь ладони своей. Не дочь — пра-пра-пра... мерещились выходящие из портретов в лунные галереи фамильных австрийских замков и на просвет совмещающие ладони свои — бесконечной прозрачной колодой — с крошечным роением линий — сквозь первую — эту.

Ночь в ладони! И перевернула рубашкою кверху. И что-то сказала, глаза отведя, что кончалось на «нет».

ФРАГМЕНТ 37.8

Может, обнял ее, поцеловал в эти растерянно приоткрытые — будто сил ей хватило на всю себя, чтоб держать удар, на всю, кроме губ, и они остались растерянно приоткрытыми, и голова сторонится назад и набок, как у переломанной сильной птицы, которая хочет выжить, потому и смотрит мимо тебя и поверх протянутой к ней ладони.

Господи, сколько ж сил ей нужно на эти силы, в сущности — неживые.

ФРАГМЕНТ 37.9

Подойдя к нашему ашраму, я обогнул его и со стороны реки начал взбираться по баньяну к тому спаренному троеветвию, на котором обычно сидели обезьяны, заглядывая в нашу комнату. Хотелось ее подвеселить. Обезьян в этот час не было, ветка свободна. Я заглянул внутрь.

Она лежала на краю кровати, вся подергиваясь в уже иссохшем плаче. Глаза — невидящие — открыты, ладонь — у лица — сжимала в горсти мякоть подушки и, вдавливая, оттягивала от себя.

Я тихо спустился с дерева, постоял у входной двери, раздумывая, и, зная ее гордость, прикрыл за собой дверь так, чтобы она слышала.

Когда я входил в комнату, она уже лежала вытянувшись на животе, утапливая лицо в подушку так, что только край глаза косил поверх нее — в окно.

— Привет, — сказал я. — Ты как?

Она не ответила, но передвинула руку за голову, давая понять, что не спит.

— Болит? — спросил я, понимая, что вряд ли в этом причина.

— Нет, — тихо сказала она — туда, в уже сумеречное окно, — все хорошо.

— Завтра рано вставать, — сказал я, раздеваясь, чувствуя, как неуклюже выглядит эта пара — действий и слов. Чувствуя, как она это чувствует. Лег. Между нами еще бы двое легли — таких, как она и я. Тихо б верложили пальцем друг друга, как два богомола, прильнули бы, воздух губами шепча.

Я протянул руку к ее плечу. Она лежала молча, неподвижно, все еще глядя одиноким моргающим глазом в окно. Геккон на стене, над окном, заглядывал в него вниз головой. Все еще глядя. Или зажмурив, с чуть приоткрытым, как в ожидании неведомой боли, ртом.

— Что-то случилось? — спросил.

— Нет, — ответила, но не словом, а звуком, не разжимая губ.

— Хочешь, поговорим...

Тот же звук, со вздрогнувшей головой.

Я провел пальцами по ее загривочку, задержавшись на миг на плече, и отвел руку.

ФРАГМЕНТ 37.10

По земляному двору расхаживал на пуантах огромный паук, забрасывая свободные ноги вверх и оттягивая носок. Подошел к нам, выгнул по-кавалерийски ноги и начал приседать, раскачиваясь из стороны в сторону, как на рессорах.

Близость (я имею в виду сексуальную) не происходит желанным образом в двух случаях: с человеком очень любимым, или совсем не. Но и не в равнодушной середке, по центру меж тем и другим. Место силы находится где-то между, но с каким-то болезненно-неуловимым сдвигом в сторону, стягивая края, замыкая ток, как между плюсом и минусом, с этим ровным тягучим, изнурительно не спадающим напряжением.

О нашей ли это с Ксенией близости? Отчасти. От нижней, надеюсь. Это похоже на смертоубийственный затяжной прыжок слипшихся ангела с демоном, вмятых в объятья друг друга и перекрученных так, что уже не поймешь — чьими губами целуешь, чьим носом ты дышишь и чьими ногтями скребешь.

А потом, жизнь спустя, на излете, хлопок парашюта — и вздернут на стропах. И под тобою — еще вдалеке, наплывая, покачивается земля.

А потом — ни ангела нет, ни демона; два маленьких голых обессиленных человека, висящих на одном дереве вполоборота друг к другу со скользящей в глазах землей.

Солнце поднялось над крышей, слепя в лицо. Паук теперь в красновато-размытом фокусе был похож на украинского плясуна в жупане и шароварах, опирающегося позади себя на руки и закидывающего ноги вверх.

ФРАГМЕНТ 37.11

Напротив нас, стиснутая меж двух запеченных индусов, сидела рыжеволосая канадка. Мокрый снежок лица. Лебяжьи шейки рук прижимали к плоской груди рюкзачок.

Ксения, разумеется, тут же оккупировала территорию разговора. Я не прислушивался. Повернул голову в голый проем окна с летящей в лицо пылью (когда Тысячеликий говорил о пыли, он говорил о ней как не о пыли; поэтому мы называем ее: *пыль*), предусмотрительно переложив ладонь с поручня на колено, чтоб не стесало.

Лебяжье крыло. Оно, то есть муляж его, висел у нее на стене в изголовье кровати. Левое, небольшое, еще не взрослого ангела. В темноте, при опущенных жалюзи. В белизне пустоты. В тишине, легче пуха. Под пуховым облаком одеяла — две головы, в затылок, моя — в ее дышит. И ладонь моя поверх ее плеча тянется, соединяясь вдаль с протянутой вперед ее ладонью. И она так по-детски, так озабоченно-нежно пятится спиной, чтобы прильнуть ко мне по всей длине, так ревниво заполняя каждый изгиб между нами и наконец, сплотив подколенные ямки с моими подогнутыми коленями, настороженно затихает.

«Лодочка», — шепчет она и отплывает вдаль. Лодочка в облаке, с выпростанным из него, табанящим, одним на двоих веслом.

И как она пятилась от меня с просвечивающим сквозь нее побелевшим кулачком сердца. Всякий раз безмолвно пятилась в глубь комнаты, глядя на меня, уходящего. И только чуть приоткрытые губы ее выдавали, губы, на которые у нее не хватало сил.

Это тянулось от Питера. В последний год он по вечерам уходил, не оставаясь с ней на ночь. И эта ладонь на ручке двери, этот беглый зевок дверного проема со ступенчатым гулким разъемом миров и перевернутой лодочкой, врытой в клубок одеяла; и так ночь за ночью, спитым неизбежным повтором входило в нее, как рефлекс, как нерв защемленный, с которым она не могла уже сладить.

И я не мог. И каждый из не столь уж частых моих уходов превращался в эту буриданову муку. И не уйти, видя эти глаза с распахнутым страхом, мольбою и болью, и не подойти, не обнять, чувствуя, как меж руками текут, убывая, вздрагивая и подтягиваясь вверх, и соскальзывая, последние ее силы.

— Иди. Иди уже, — шепчет она, уворачивая лицо, как не свое, и уже не чувствуя губ, прильнувших к ее виску.

Я приоткрыл глаз — канадка сошла в Ришикеше — и снова прикрыл его.

Лебедь. Она позвонила, пригласив на вечеринку к своим друзьям. Русским. Гости должны быть в лебяжьих нарядах. Видимо, оттого, что фамилия именинного хозяина — Schwan (лебедь).

Я надел военную полевую форму моего деда: галифе, гимнастерка, кирзовые сапоги, портупея. Приколол ордена, в том числе за взятие Берлина. Подшил его капитанские погоны. У соседки, немки, выбрал из фарфоровых горок двух лебедей. Другого прибинтовал к голове, как легионерский гребень. Другого, поменьше, с вытянутой вперед шеей и сложенными чашечкой крыльями, подвязал к ремню и свесил между ног, в виде суспензория. И, накинув поверх пальто, отправился через вечерний заснеженный город.

Ксения зияла меж грузных, хлопотливо пернатых тел. Как что? Как отлетевшая душа? Как последнее зыбкое кружево тающей белизны? Эфемерные панталоны и такая же блузка, кружевной воротник и крыло за спиной — одно. И забеленное лицо. И на правой руке, чуть пониже ладони, на детском шнурке эта красная варежка — под ладонью, бесплотной, как выдох в мороз.

Так мы с нею и танцевали меж гостей. И потом, когда они разбрелись, и потом, когда музыка стихла, всё покачивались, плывя вдоль окон, и в отведенной от плеча лодочке моей ладони плыл ее невесомый выдох с летящим за нами красным вязаным якорьком.

ФРАГМЕНТ 37.12

Идем сквозь хутор по пустынной дороге. На обочине — козы, длинноногие, с золотыми глазами и слюдяной плинфой зрачка.

Я вспомнил карманную безделушку детства: козочка, стоящая на таких же высоких упругих ногах на спальной тумбочке; давишь пальцем с исподу, и ноги гнутся — козочка, кривясь, опадает, заваливается, а отпустишь — вскакивает.

Я обронил с улыбкой, что, мол, она на нее похожа. То есть не на игрушку, а на этих, стоящих на обочине. Неосторожно. Она мне это запомнила, истолковав по-своему. Как? Помилуй бог уточнять.

А ведь и вправду в ней что-то было от этого странного создания. Не впрямую, конечно. Но эта настороженная повадка головы и отведенный взгляд — чуть в сторону от тебя, эти божественно наплывающие глаза — чуткие, близкие и пустынно-далекие одновременно, этот чуть смазанный подбородок — от отца, прикрывавшего эту осечку рода рыженькой куцей бородкой. И, наконец, что-то неуловимое и ироничное в образе попки: ощущение неприкрытости, что ли, ее недотроги.

И еще: этот все перепрыгивающий себя оборотень ее возраста; от бодливой солнечной девочки до проступающей амальгамной старухи.

ФРАГМЕНТ 37.13

Ксения миловалась с восьмимесячным Йогином, так его звали. Он просовывал хобот меж бревен и, обвиняя ее стан, подтягивал, склонив голову набок, помаргивая озорными глазами.

И отпускал — и ее, и себя от нее, делая радостный круг по загону, довольный собой и своею, хотя и нетвердой, рысцей.

И опять подходил, и сосал ее пальцы, забирая поглубже их в рот, и при этом смотрел исподлобья так, как, кажется, мальчик смотрел бы, заигравшийся с женщиной и притихший у тайной черты.

ФРАГМЕНТ 37.14

Не думай. Ни о чем не думай, просто иди. Отпусти ее на эти полчаса. И себя отпусти. Что-то произойдет, что-то уже происходит. С нами. Что ж я не чувствую — что? Что ж я все время ступаю с третьей ноги? Чуть раньше, чуть позже, и не иначе меж нами. Не вовремя. То я, то она. Спросила о чувствах. Моих к ней. Впервые — с весны. В самый неподходящий. Вчера. Что значит — неподходящий? Либо есть, либо нет. И так, и не так. После купанья. После слонов. Казалось бы, самое время. В том и подвох. В том и подвох. И стояла с этим стекольным осколком ответа во рту.

А потом я пытался смягчить этот чертов английский. Сказал, что об этом не спрашивают меж берегами. Да и будет ли он, тот берег. Если мы доплывем, если выйдем, намоем собой. Слава Богу пока, что отплыли. С этим погребом на спине. Из которого воеет, сосет.

Слава Богу, не это сказал. Не глядясь в зеркало посреди молитвы, не...

И не это.

А спать со мной, значит, можно, спрашивает, меж берегами? Значит, по-твоему, я должна еще и право это иметь — спросить? И стоит с этим острым осколком во рту, опустив голову.

Не «иметь» и не «право», конечно, это язык меня мстит. Но что ж ты не чувствуешь, что об этом не время, не так. И потом — что об этом не говорят, а живут. И потом — это из-за угла, малодушное: кто там? свои?

Чудовищно, говорит. Это точно. А спросила бы часом поздней или раньше, спросила б сегодня — другая бы жизнь.

Скажи мне, как-то вдруг спросил я ее, несколько дней спустя после той новогодней, ты действительно никогда не хотела родить ребенка? Почему? Замерла, всматриваясь в меня и, помедлив, сказала: *чтоб следов не оставить*.

Чудовищно, что мы творим. И главное — непоправимо. И главное — непоправимо я в это не верю, что это непоправимо.

Откуда же эта самоуверенность? И извлек он из вод быка, и дал им, чтоб жили. Нет, сказали они, это неубедительно. И сотворил лошадь. Нет, сказали, и это не то. И создал человека. Во, просияли, другое дело.

От верблюда. От творческого отношения. От творческого.

А у нее — затворническое. И верблюдики на занавесках. Нацокала под трафарет. Желтые, рассеянные по белизне.

Так она и надписала на подаренном мне в день рождения дневничке наших встреч: тебе (и наклеенный верблюд) от меня (и наклеенный пингвин).

Почему ж я не чувствую, что происходит? Ведь сейчас происходит. Сейчас поворот. А я не вижу. Щелкаю фонариком и не вижу. Как вчерашний круг, тонущий на глазном дне.

Букетик нарвать ей, вот этих, ее любимых, с тихим жалобным светом. Эти полуслепые, закисшие глазки. И эти с поддувом тлеющие угольки.

ФРАГМЕНТ 37.15

Эта была самая медленная ночь в нашей жизни.

Мы лежали на берегу, невдалеке от еще курящегося шамшана. Триста килограмм дерева, немного алоэ, сандала, одно тело и совочек пепла, струящийся в воду.

Слова, оставившие нас, стояли в черном чужом небе мелким моргающим дребезгом звезд.

Медленно, медленнее ударов сердца, медленнее дыхания камней мы вглядывались друг в друга, закрыв глаза; вглядывались ладонью, кожей, виском.

Господи, помилуй мя, где ж я был всю эту жизнь до себя, до Тебя, до этой дрожащей, жалобно жмурающейся ладони ее на моих губах.

До этой рощицы влажного света ее волос.

До этого олененочка губ ее, Господи, даже если бы Ты ничего не создал, кроме этого теплого чуда.

До ресниц ворожбы, до глубинного пения крови, до свеченья ее чернецов.

До глухой расступившейся тьмы для серебряной дрожи ее плавной излучины тела.

До расплета его, до меня в немоте междуречья.

До ужаленного хребта между святостью и святотатством.

До близи покрова, до лунных раздвинутых зарослей схимы, до узкого росного лаза в трепещущих отблесках — до...

До этого слова — последнего и одного на двоих нас — до *ты*.

До *ты* наплывающих волнами тел,

до *ты* отбегающих вниз отражений,

до *ты* пузырьков, восходящих со дна темноты, немоты, пустоты...

До этой маленькой, удаляющейся лодочки, плывущей в уже светлеющем небе; лодочки — в четыре медленных, медленнее ударов сердца, весла;

и еще два — в небо опущены за кормой;

и еще два — сушатся, подрагивая над нею.

ФРАГМЕНТ 37.16

Ночь была колкая морозная звездная — зеркалище занавешенное. Как же его звали — Рихард? Бернхард? — дядю ее, гинеколога. Жил он неподалеку от нее, от улочки ее «любосмертной», в тихом спальном квартале подметенных улиц и нахохленных бюргерских домовладений с утками, высаженными на забор. Клаус? Пусть будет Клаус. Хотя б по тому, как он встретил нас. В валенках и шерстяной красной шапочке, а между ними — не помню — проем.

И повел нас в свой сад. А в саду на снегу стояла страсть его и смотрела в изумрудное небо, занавешенное черной меленькой сеткой. Стояла под углом 45 к горизонту. А рядом на пенальном столе лежали ее линзы.

Это был мощный цейссовский телескоп, с которым он выезжал в Альпы, грузя его в салон машины — во всю длину, — и осторожно завинчивался по серпантину к вершинам с женственным окуляром, припавшим к его плечу.

А меж этими редкими вылазками караулил в саду, выжидал, календарил, отряхивал звездную пыль. А служил гинекологом. Днем — в один космос глядел через линзу, а ночью — в другой. Меж ног межпланетных зеркальцем чутким водил. Следил за рождением новых, а ночью — сверхновых. Асс Клаус, ге-ном с легоньким детским лицом в вязаной шапочке и размашистых валенках, а между ними — певучий проем.

Мы стояли с Ксенией по сторонам от предмета его страсти, в черном саду на тоненькой льдистой клеене. Он долго ждал этой ночи. И теперь ворожил над линзами.

— Сатурн, — приговаривал он, — 9,54; 29,46; 10,2; 120 660; 5,68 на 10 в 26-й; СН4, Н2, Не, NH3. 17 спутников.

Мы поочередно припадали к окуляру, наведенному им на луну. «Для затравочки», — как он сказал. Я впервые видел ее на таком близком расстоянии. Ближе зрачка Ксении, когда я смотрел в него, затуманенный, тонущий под веко от долгого — до утраты себя — поцелуя.

Мы приникали глазом к этому губчатому безресничному оку, наводя его с опереженьем луны, и она врывалась, заполняя весь глаз, озаряя его и слепя своим рваным, в подробных кавернах, бельмом.

Миг, и нет ее, но не прежняя тьма, а живое зиянье глазницы. А бельмо — в твоём глазе, отшатнувшись от окуляра.

— Сатурн, — удил он губами, выживая нужную линзу из ячеисто-сизого бархата, — Времясос, Чадоед, окольцованный Хроник, Косарь, Андрогин, Уробор...

А когда мы, заиндевевшие уже, вошли в дом пообогреться и он нащупал ломкой рукою во тьме выключатель, вдруг в дальнем конце комнаты бесшумно распахнулась дверь и в световом проеме ванной возникла женщина, запахнутая наискось полотенцем. И скрылась. И глаз отшатнулся — еще раз.

И еще. Но на тот раз не отшатнулся, а напротив... Напротив — что? А вот и не скажешь. Это было после занятий йогой у Прамота. Прочли указатель во тьме: *Вкусная домашняя еда. «На краю»*. И стрелка: *800 метров*.

Край поселка с тускло подрагивающими огнями уже за спиной. Тонкий крошащийся мелок дороги, проведенной по скомканной черной бумаге. И горящее окно сверху вдали.

Подходим. У плиты человек. Со спины. Тихо стоим, смотрим. Движенья его поют. И поют не просто быстрее музыки, а на такой скорости, что всякий раз свершились уже, пока она только рот приоткрыла — воздух набрать, чтоб начаться. И отсюда это ощущение замедленности его танца, едва ли не неподвижности.

И вдруг мелькнула простая, в сущности, мысль: чем экономней движение, чем оно чище, точнее, чем совершенней, тем меньше места оно занимает в пространстве, тем незаметней во времени. И в этом смысле Бог, вероятно, микроскопичен. Нано. А наш Даниил говорил: Нава.

Вдруг — его звали, голый, как воздух. Недоуменье Платона по поводу этого «вдруг» — нечто меж бытием и небытием, говорит, вне закона. И Аристотель: время, говорит,

не слагается из «теперь», линия из точек; время или не существует, или *едва* существует.

Он почувствовал наше присутствие и обернулся. Чем-то отдаленно напомнив Шушелькуму. Чем? Не этими безмолвными древесными губами. Не этим с высолом света лбом. Не этими опрокинутыми улыбками глаз.

— Жена, — говорит, — с детьми уехала, я один на хозяйстве, так что это займет с полчаса, если вы не торопитесь.

Мы были единственными у него посетителями. Он вынес для нас стол на верхнюю недостроенную площадку с непроглядным за ней обрывом. Протянул шнур с лампой направленного света и примотал ее к ветке дерева.

Площадка была голой с одиноко стоящей колонной, чуть в стороне от центра. Тьма. Мы, сидящие по торцам стола с кувшином воды и двумя стаканами. Тишь. Без крыши, без неба, без двух сторон горизонта. И из двух оставшихся — каждому по одному. Мне — слепящий луч лампы в лицо, черный силуэт Ксении. Ей — скользящие иероглифы горящего леса — там, за рекой, высоко в небе.

— Что ты видишь, — спрашивает.

— Тебя, — говорю, — как замочную скважину в негативе. А ты?

— Тебя, — говорит, — а за тобой — глаз в небе, весь в кровавых лопающихся сосудах. И так близко — кажется, ближе, чем ты.

Переставили стол так, чтоб каждому было по полгоризонта — того и другого.

— А теперь?

— Нет, — говорит, — так еще страшнее. Этот луч слепой между нами — туда, в тот небесный глаз, где эти горящие черви, кольчатые, в неторопливых конвульсиях.

— Как ты сказала — неторопливых?

Кивает.

— Каллиграфия крови?

Кивает.

— Кали?

Переставляем стол. Столоверченье. Вода в кувшине покачивается.

Теперь я его вижу, этот глаз воспаленный над нею — во все небо. Без ресниц. И в нем письма горят. Пишутся — одновременно повсюду — и горят. Острым перышком по радужной оболочке — черной. И проступают красной бороздкой, чуть расплываясь и незаметно переиначиваясь на ходу. Так что если вернуться взглядом — уже не найти того слова, которое, кажется, только что проступило, еще не подсохло, а вместо него другое. Очень похожее, но другое. Двоюродное. Та же кровь, но чуть отдающая синевой.

— Ну что, — говорит, — пишут?

— Жил-был на свете нерожденный ребенок, — не говорю, пью водицу окувшиненную, глядя вверх ее головы. — Как дельфиненок. И не на свете жил. Не было света. Не было ничего, кроме него, нерожденного. Без начала, без смерти, без очертаний. Ребенок, который не знал ничего и ничего не имел, кроме дыхания. Точнее, им он и был. Тоненький выдох и этот же тоненький вдох. А между ними — мир и, едва различимые в нем, — этот стол и две скобочки тел по краям.

— Пишет, — говорю, — деревце конфорочное в костер обмакивая, Марк Аврелий: да живи ты хоть три тысячи лет, хоть тридцать тысяч, но помни, что человек никакой другой жизни не теряет, кроме той, которой жив; и не живет лишь той, которую теряет.

— Да? — говорит, обернувшись. — А не скажешь.

Глаз догорал, заволакиваясь. И луна водила над ним, как зеркальцем. Хуберт — звали его, дядю ее, гинеколога. Хуберт.

ФРАГМЕНТ 37.17

Сидел, уворачиваясь головой от всплывавших слов Амира, сказанных на прощанье, когда мы чуть отошли в сторону: «Отпусти ее, — и, взглянув на нее, тихо добавил: — Она не с тобой».

Я это знал. И знал, и чувствовал. Не обнаруживала, да. Но и не скрывала. Когда об этом я заговаривал. Казалось, что это важно для нее, что я понимаю ее — в этом. Что это не как от понедельника к вторнику перейти — от одного человека, с которым прожила восемь лет и который вдруг повернулся спиной к ней, — перейти во вторник другого.

Я знал, что она продолжала с ним видеться. Изредка. Верил. Но в то, что случайно, как она говорила, — не думаю.

Чуть раньше, чуть позже.

И потом, еще в самом начале, зимой, мы сидели за столиком все того же кафе, я сказал ей, что если смысл нашей встречи лишь в том, чтобы... Ну, в общем... Она поморщилась, оборвав: «Спасибо. — И, накрывши своею ладонью мою: — Не такая я немощь, и ты для меня — не клюка».

Тоненький выдох. И этот же тоненький вдох. И незримая ранка меж ними. Пра-пра-п-ранка.

Катятся яблоки со стола, как кувшинчики оплывающие, и ничто их уже не удерживает, вывихнут взгляд, как нога, подвернут.

И идем мы через заснеженный город во тьме: она впереди, я сзади, прижавшись, запахнув ее полами своего пальто — так, что лишь голова ее высунута, растет из моей груди, поглядывая по сторонам. Идем шаг в шаг, как кенгуруиноходец, покачиваясь у витрин, как на рессорах. И прохожие лица, выныривая из воздушных промоин, укрупняются удивленно, глядя на этого припорошенного кенгуренка, где ты, любовь-детка, на каком свете?

Катятся рдеющие колесики яблок без «башмачка» взгляда. Катятся со стены эти вихляющие головки и пада-

ют с мягким, живым — даже не стуком, а голосом — на пол: *дуп, дуп, дуп.*

«Du! Du! Du! — вскидывая себя подо мной, впивалась губами в воздух: — Du...» И я изо всех жил жадной животной нежности сжимал ее зыбкую голову-ходунок.

И как менялось в эти минуты лицо ее! Как скруглялись черты горизонтов! Как марианская впадина вдруг проступала под детской жалобной зыбью лица. Так, будто весь распахнувшийся Бог ей протянут — и отнят одновременно.

Вброшен в нее — и отдернут; но так, что Он — вот, на кривящихся буквой губах, на подушечках пальцев еще, отплывающих вверх — в никуда, на испарине ребер, взметнувшихся и поперхнувшихся вдохом, схлестнувшимся с выдохом — одновременных.

И эти ее кулачки, в десять вольт дребезжа, мне таранят подмышки, жужжат, и буравят, и роют эти дрожные пазушки тьмы под руками, которые, млея, слабея, но все еще держат ее восходящую голову — этот легкий глазастый челнок, не мигая, клюющий волну.

Du... Du... Du, — мне? Кому? Сквозь меня в эту дуя дуду. И сжимала меня своим детским льняным кулачком — там, во тьме живота, кулачком этим третьим, родным — все сжимая мое опустевшее горло.

Ты куда? — нехотя отстранялась она равнинной излучиною во тьме.

На природу, — шептал я, скользя к ней щекою вниз по приречному мелу — как ладонь испещренной мерцающей простыни, по ее меловому периоду.

На природу, — как ящер без кожи, во тьме, скользя своим ртом приоткрытым и глазом «зеленым, рептильным, подсолнушным» — как нашепчет бумаге потом.

По притихшему мелу к волнистому кряжу бедра с беззащитной тропинкою вниз — там, за голеньким перевалом — к природе, живущей внизу, под мыском.

К этой схиме, не ведавшей ножниц. И если раздвоить ее языком — там, в келейной пещерке с плывущим к ней лазом во влажных рубиновых отблесках — там, в глубине, со свечой стоит призрачный, как фитилек через пламя, чернец у стены, и окошко — слепое — над ним. И за этим окошком — густой подорожный простор, вся ветвистая, дрожная эта *чужбина*.

ФРАГМЕНТ 38

У нее тело девочки.

Девочки, возраста бабьего лета.

Когда все кончено.

Когда демоны счастья на длинных стеблях стоят в небе, вода ладонью над мороком золота и парчи.

Со стороны. Все время видеть себя со стороны, держать линию, маленькая швейцария, зубчатый лед синевы под солнцем.

С ночным перепадом.

И маленькие гренадеры в игрушечных кафтанах сидят в засадах, блюдут границу. Игрушечные, а ружья у них настоящие.

И она, девочка, маленькая императрица, входящая в детскую, в свою оставленную жизнь тому назад детскую, заросшую тьмой с воткнутым в нее сквозь высокое окно под сводом осиновым колом солнечного луча. Паутинная тьма с увязшими в ней опилками света, расходящимися от луча. И она в ней — девочка, подвешенная на нитях, в платьице маленькой императрицы из андерсеновского вертепа.

ФРАГМЕНТ 38.1

Она медитирует по пятницам.
У нее аллергия на супермаркеты.
Ее воротит от людской пены.
Она пьет оттенки незримого.
Ее привлекают лица.
Она разглядывает этнографические фотоальбомы, лежа на животе, на полу, ночью.
Ландшафты лиц. Лунные, кратерные, терракотовые, чернью по серебру.
Она выбирает столик в кафе, вдвинутый в полутьму, спиной к стене, с обзором.
Лиц почти нет, реликты, два-три на город.
Почти нет, как и еды в ее холодильнике: красное с белым — помидорные ягодки и моцарелла. Келия холодильная.
Она ходит в Альпы. Одна.
Она отсиживается в монастыре. Ее смирение паче гордыни. Она не прощает.
Душа у нее крохотная, как жемчужина на непроглядном дне.
Ее завораживает детская улыбка смерти, свет в тумане, его растерянно-близорукие переходы, она любит Венецию.
Она любит лишайные высолы на руинах.
Она выуживает губами эту последнюю рыбную косточку света, тающего над горизонтом.
Она оглаживает эти старческие наросты на деревьях, эти волдырчатые маски, похожие на распухшие ужаленные лица новорожденных.
Она танцует в комнате, когда одна.
Ее не видят книги, они задернуты занавеской.
Она танцует в безжизненном молоке.
Она знает, как держать себя. И тебя.
Она светская серна. Она чует тебя за три поворота.
У нее манок в ключице — той, чуть приподнятой.
У нее жгучая уязвимость, но концы ее все в воде, а вода — где? Свищи ее с ивовым прутиком. Карстовая по-

рода, все вымывается, остаются поющие полости, защемленные гортани.

Она говорит на разных языках. Она нектарится греческим.

Она играет в спешившуюся королеву, она играет в свою служанку, она играет в себя, растущую вспять.

Паче гордыни.

Как породистый пес выкатывается по земле, втирая в себя волнующий запах, так и она — языки.

Нет? А как?

Старческие наросты. Оглаживает. Промывает. Это ее присутствие в мире. Приутопленные вериги. Дверь в день.

ФРАГМЕНТ 38.2

Она открывает дверь — там, где ее присутствие, и видит: двое, голых, девятистолетних, он и она, у стены, сплетенных, слипшихся и перекрученных, как остывающий парафин, головы повернули — теплые, с приоткрытыми ртами в беззубой улыбке.

Она рассказывает, и глаза ее распахнутые, в незабудочной дымке у ресниц моих, чуть снизу вверх, щекотно.

И — нет ее перед тобой; скользит и, удаляясь, во взгляде не отражается.

Воздух не хрупок, не бьется. Ртуть не вода, капли сплываются.

Ртуть в ней и воздух: дыши.

Чутко дыши: нежность ее двужильна.

«Я сильная немецкая женщина», — обернулась она через плечо. То, с манком. То, которое бык на Лесбосе вдруг увидев, взревел и, клубясь к ней с холма, ткнулся рогом, войдя ей под мышку, и поднял ее над собой с зажатым ею под мышкой рогом.

ФРАГМЕНТ 38.3

Она умеет слушать. Она не оставляет следов.

Она умеет висеть, как рыба, не сходя с места, поводя плавниками.

Она, как рыба, метнется в сторону, чуть что.

И вода сморгнет то место, с которого она не сходила.

Одной они крови, чуть что.

Следов не оставляют они — внутри себя.

Она любит разглядывать мушек, запеченных в янтаре.

Она ворожит пальцами в семейном сундуке.

Она одевается в опавшие листья. В разводы мерцаний, в ажурную ветошь. В уходящую письменность: на про-свет — как ладони ее сквозь огонь.

ФРАГМЕНТ 38.4

Нет, не лисье лицо у нее — беличье.

Остренькое, а кажется детским округлым. Игрунья, шнурует ствол. То слева, то справа выглянет, то вниз головой. Та ли? Или это уже другая, третья? Коготки, лапки, шубка из сундучка. Под пушистым кувшином сидит, спиной к нему прислонившись. И в орешек дует, как в уголек, вертит его, пальпирует, а глазами поверх него постреливает по сторонам. Что б еще заготовить? А на самом деле — во что бы еще сыграть? Сыграть, а на самом деле — что бы еще заготовить? Аритмичная мимика, огненная морзянка. Тире-тире-точка, вскинутая голова, вслушивание с замораньем. Кисточки-ушки пишут пугливые акварели. И — взвивается вверх огневой спиралью, и летит, переметываясь по верхушкам: точка — тире — точка.

ФРАГМЕНТ 38.5

На всех фотографиях у нее пустые глазницы, насквозь пустые с плавающим в них inferнальным угольком от фотовспышки. У людей, стоящих с ней рядом, глаза живые, а у нее с этой красной киллерской мушкой, наведенной в открытую ранку пустоты с воспаленными швами ресниц.

И на этом снимке, где она в русском цветочном платке. Палевом, из-под которого выбилась прядь ее русых волос, жиденьких, полевых. Глядя на них, почему-то всплывает «когда волнуется желтеющая нива» и «в небесах я вижу...», но не Его... А что ж тогда, кого? Чье там зиянье?

И еще: «только не сжата полоска одна». Там, у межи, на том конце поля, на краю, за которым ни снов, ни людей, ни дорог. Эта полоска несжатая — там, за Германией, за судьбою, за кровным (бескровным) ее языком. Вся она сжата, только полоска одна. Там она, там ее жизнь, как бы не этого поля.

Как бы не так. Этого ведь, край от края. Как ни перепрыгивай себя по обочинам. Вьются белочки ДНК, двойные спирали их вокруг невидимого ствола.

И что с того, что ее ствол выпутался из леса, убрел в даль и стал на ее краю? Что с того, что с этого света. Тень одна у них — перекрестная. Как спираль двойная.

ФРАГМЕНТ 38.6

Кто видел, как она раздевается? Не наготу ее, а то, как она раздевается. Не я. Зеркало? Нет его у нее в прихожей.

Она раздевается вдруг, будто споткнувшись о что, потеряв равновесие и в этой позе зависнув на миг, вдруг очнется, как от себя отшатнется и — не сбрасывает одежду, не выскальзывает из нее, а будто воздух сотнями ножниц кроит во все стороны, отсекая ее от себя, продвигаясь рывками в этом кратком зазоре от входной двери к ванной. И пространство схватывает на лету, как чаечная взвесь устремляясь за нею, этот ее рукопашный корм.

И нет ее, дверь в ванную полуприкрыта.

Она лежит на дне — неподвижно, и вода лежит на ее лице — неподвижно, призрачным слепком. И маленькие прозрачные ладони воды лежат на ее груди старшеклассницы. Ноги от мальчишечьих бедер ее вытянуты вдаль под водой, незаметно сводящей их и размыкающей по всей длине. И кудельная тучка в межножье, от рожденья не знавшая ножниц; мерцает, приутопленница, вся в жемчужинах пузырьков воздушных, девонских.

Лицо всплывает, выпрастываясь из воды так же порывисто, как и входило в нее. Так же порывисто-плавно, то есть так, что и не уличишь движенья, кажется, это всё картины, и движется только взгляд от одной к другой.

К той, нагой, что метнулась мимо, как спичка, вспыхнувшая у глаз и брошенная во тьму, юркнула под одеяло, и тишь, вслушивается во тьму, в шаги, к ней приближающиеся, дует в орешек у губ, подтянув к глазам одеяло.

ФРАГМЕНТ 38.7

Она начинается, как встречное течение в реке. Она вьется, отталкиваясь от берега, заволакиваясь внахлест дрожной рябью.

Она утрачивает черты, лицо ее будто из тьмы выплывает, оплавленное огнем, озаренное светом, у которого нет источника; матовым плавким подкожным светом, как на фламандских портретах.

Черты ее плавятся там, внизу, во тьме, из которой всплывает лицо, всплывает одними глазами, их светом, мольбой, с этой нитью зажатой между губами, нитью боли, родства, немоты, в этих зарослях рук — чьих? уже не понять, не сомкнуть, не унять, не раздвинуть.

С этим телом, висящим, как рыбий косяк; то стоит, себребрясь, над обрывом во тьму, то метнется и снова зависнет.

С этим голым, как провод, пространством меж тел, с этой дрожью, кривящейся между ложью и нежностью, меж десной и клыком, между красным и белым, между ангельским льном и копытом его же, раздвоенным на груди ее талой.

Между криком, вонзенным по локоть под дых и безгубым сережечным лепетом, обдувающим мочку.

С беглым богом в мешке за плечом. С бездорожьем беспомощных ног, увязающих в собственной глине.

Она, как в лианах, блуждает в своих очертаньях. Одни провисают, подрагивая, другие напряжены, как живые.

Кажется, будто она пытается вдеть себя в эти петли бывших своих очертаний.

Она, сомнамбула, пытается деть себя, тычется в пустоту и не падает.

Она насаживает себя на кол, как куклу на руку.

Она раскачивается на нем с запрокинутой головой, вьжет тьму, растягиваясь, как мурена, пьет ее прорезью губ, будто жует лезвие.

Будто угли жует, как лезвие, выстанывает, проталкивает языком это склизкое, устрично взвизгивающее меж зу-

бами: «Libst Du!? Libst Du...» Или это лишь слышится так: «Любишь? ты! Любишь...» Да и кто этот *ты*, где он?

Будто сети губами рвет, будто вырваться хочет из этих сетей. Куда? К кому?

Она не помнит уже, сколько раз восходило солнце. Она смотрит в окно реликтовым невидящим взглядом.

Она вся — как плавущий воск. Можно мять и лепить из нее другую. Другую голову, другие губы, другую щеку он мнет. И спина у нее другая, и грудь, и бедра. И она течет под рукой, густея и обретая черты, и снова высвобождаясь и оплывая.

И всё: кажется, нет больше сил у нее *не быть, не оставлять следов*.

Но нет: как гусеница на листе, восходит над ним, гнется, раскачиваясь, завиваясь, и нет воскресенья. Нет Воскресенья ей. Воск плывет.

А он не верит. Голубит ее, и мнет, и стелет, и комкает, рвет, изводит, и входит в нее как в огонь, и как из воды выходит, и входит как в воду в него она, и как из огня выходит.

И валятся оба, и долго летят друг в друга с распахнутыми глазами, как пропасть в пропасть.

И лежит калачиком на едва проступившем дне, и дрожит, как эпилептик, с этой гнutoю ложкой, прижавшей язык в ее затухающем сердце.

Л. говорит: ты ребенок. Ты редкий ребенок. Для нее это только секс, даже если, как ты говоришь, он и был для нее откровеньем. Она ведь Рыба, о каких переходах ты говоришь? Рыба. Выметнется из воды, и в воду.

ФРАГМЕНТ 38.8

Тонкий ум у нее, точеный, хорошо отточенный, как о зеркало клювом птица водит, прижимаясь к нему и скользя глазом.

Этот фон ведь в одном из смыслов сродни радиации. Излучение древа. Незримое, внутреннее, не выходящее за свои очертанья. Не коллективное и не личное бессознательное, а родовое. И как ни ветвись, не вывернешься; оно тобою приращивается. Нет на нем зелени, время иссохло, сновидческие наросты, фантомы, венеция пальцев, ночное свечение, белая с высолом кость.

И еще, — она пятится, глядя, как беличью шкурку, ладонью перед собой пустоту: это как свет реликтовый, только свет, а источника света давно уже нет.

Она прислоняется затылком к зеркалу, она закрывает глаза.

О, эти скрипочки *страдивари*, эти скрипочки-женщины без смычка.

Они и ищут такие дома — с мягкой акустикой, с тихой ворожкой полусвета, с седовласым мастером, настоящем на молчаньи — там, в глубине, у камина.

Мастером, но не скрипичных дел.

Мастером возраста отца. С несуетливой большой ладонью, на которую, повернувшись к нему спиной, можно было бы положить голову в отсветах огня и на той же ладони проснуться.

Они вслушиваются в себя, эти скрипочки без смычка, подставляя себя под ветер.

Она лежит в своей комнате на полу на спине, прикрыв глаза. Ветерок вздувает и всасывает занавеску. Третий день она не выходит из дому, слушая Одиссею, а затем Илиаду; 60 часов непрерывного чтения, записанного на компакт.

А может, они так и задуманы, эти скрипочки — под ниточный ветер?

ФРАГМЕНТ 38.9

Она опаздывает. Это кафе при музее всегда переполнено. И официанты идут, закатив глаза, как Моисей через пустыню, по сорок лет.

Няня его узнала, когда он вернулся к своей Пенелопе, на родину, Моисей.

Она говорит: Телемак мне тебя напомнил.

Почему вдруг? — спрашиваю.

Сжала мою ладонь в своей и отпустила, не отвечает. Бог его знает, что у нее на уме. Мое отношение к матери?

Опаздывает. Уже на три четверти. Странно. На нее не похоже. Обычно встречались под бой часов — то ближний, то дальний их перезвон. И это настолько вошло в обиход, что даже когда в тишине к губам ее прикасаюсь, он начинается исподволь, их перезвон, будто с дальних холмов, и смолкает, когда выпрямляюсь.

Вот она, наконец-то. Скользит меж людей, чуть крепнеть, как обычно, как перо по бумаге, в черном распахнутом узком пальто до лодыжек, скользит еле зримиыми галсами. Как Пьеро по бумаге. Без следа, симпатическими чернилами. Только в чьей руке? Ничьей.

Прости, говорит, у окулиста была, задержалась. Смотрели друг в друга, как в перископ. Стол, на столе перископ и две головы, припавшие к нему с двух сторон, и никого в кабинете. То есть он смотрел, а я видела — будто две луны, висающие на ресницах. Или две молекулы, однокомнатных, с непогашенным светом. На 40%, говорит, у Вас зрение село. В левом. А правый — в норме. Знаете, — его улыбка всплывает над перископом, — говорят, левый у нас — от отца, правый — от матери.

Вот, надевает очки, такой я теперь читатель, не очень, да?

Это смотря откуда смотреть. От нее — левый, от меня — правый. Симпатические чернила. От отца.

ФРАГМЕНТ 38.10

Молчим, через стол глядя глаза в глаза. Ни она не отводит, ни я. Кажется, будто они текут, еле касаясь друг друга, один сквозь другой.

Ты думаешь? — спрашивает.

Нет, говорю. Так. Картинки переводные.

Не слышит. Это она не слышит. Не то.

А ты, говорю, как поживаешь?

Взгляд поднимает поверх меня.

Счастлива, говорит.

Странно. И еще помолчав: странно.

И чувствую, будто ребенок — мокрый, жгучий, защемленный там, в паху, техкает, как нарывает.

С ним? — говорю.

Кивает. Как головка фарфоровая, с затухающим колебаньем.

Знаешь, говорю, странное чувство, будто на этой кровати не я с тобой был. Даже не внук, а правнук, так давно это было. И давно не во времени. Оно передернулось, но еще не остыло.

Смотрит, молчит. Чуть сощурены вдаль, в никуда. Как от затылочной боли.

С правнуком, говорю, чтобы как-то ослабить нить, как тебе эта перверсия?

Улыбнулась краями губ.

А ты? — тихо так, как раздвигая заросли, в сердце входя, будто и впрямь душа родная.

Я? ... как Господь с четверга на пятницу. Поутру.

То есть все хорошо?

Да, говорю, осталось найти, куда деть нерастраченное.

Нежность, небось? — прищуривается. Что ей скажешь?

Это иллюзия, говорит. Не я. Не здесь. Тебе бы отзывчивую, теплокровную...

И эта полуулыбка ее, даже уже не краями, одним краем. Тикающим.

Разные, говорю, случаются сочетания. Сиянье, например...

Да, подхватывает, северное. Или южные миражи. А почему ты спросил?

Что?

О нем. Почему странно?

И снова этот ребенок сломанный ткнулся в низ живота.

Знаешь, как играют в слона? Один нагибается, другой перепрыгивает его вдоль спины, третий пытается перепрыгнуть двоих и так далее.

Ты о чем?

Так. Через спину и голову.

Я говорила тебе: это рок мой...

Да, с черного хода.

...судьба, договаривает, потому и вернулась к нему.

Не вернулась, вернула. Ты ведь и не уходила. Он отошел. Вот тогда-то тебе и понадобилась спина — между вами. Но прыжок затянулся, ноги увязли. Да и руки как-то невольно переплелись, да? И глазами встретились чуть на дольше, чем. Тебе бы ночь свою пережить, затянуть рану, да и ему чтобы видно было, что в окне твоём свет и на занавеске тень о двух головах.

Нет, головой покачивает, сощурясь, не так. Не так.

А как? Ты с такой нарочитой легкостью подхватила мои слова, что это, мол, не любовь меж нами. Пресекая на полуслове. Что пресекая? Да, видимо, не любовь. Не ее расхожее чудо. Видимо. Видима лишь поверхность. А тут что-то такое, чему имени нет, нет ключа, ни у меня, ни у тебя нет. Нерв какой-то задет, и даже не меж, а над нами, нерв ли, Бог ли глухонемой, тот, к которому нити от нас тянулись, тот, на котором мы, как потом оказалось, подвешены. Не на одной любви свет клином сходится. Случаются преломленья куда более редкие и не менее драгоценные.

Они говорят через стол, через его растресканную смоляную реку.

Двое их, которые говорят.

И еще двое, ни слова не проронивших: он встает, огибает стол, к ней подходит, она отклоняет голову, открывая шею, он наклоняется, скользит губами вниз, к ямочке под ключицей, рука ее тянется вверх, незрячая, ищет его лицо, чуть отталкивая ладонью и, обхватив затылок, притягивает.

Нет тех двоих, сидящих по сторонам стола, нет напротив нее его, с ней говорящего. И она не напротив него, а с ним, в нем, как и он в ней, комбинезон ее скользит со спинки стула и съезживается на полу рядом с его скомканной одеждой.

И те двое, сидящие за столом, видят все это, конечно видят, но не подают виду.

И эти слышат, как те говорят, слышат — уже из ванной через полосу света, все еще слышат — из дальней комнаты и возвращаясь, когда за окном светает.

Счастлива, говоришь. Нет, меня пока Бог миловал. Не в бесчувственном состоянии. Это к слову о том, что странно.

Нет ее — там, куда камешек канул, лишь круги расходятся к безжизненным берегам.

А тебе не кажется, говорю, что не все сверху падает? Что, может быть, это некий вызов, а мы уклоняемся, смотрим в сторону, будто не нас окликнули. Потому что нет видимости — там, откуда он слышится. Но тебя ведь достаточно потрепало, чтоб не знать, что есть области духа, откуда не все возвращаются. Ну да это тебе не грозит, какие б дары тебе ни мерцали.

Знаешь, говорю, как те маленькие лошадки, обнаруженные случайно в том затерянном мире, куда сотни лет не ступала нога. Эти лошадки, уцелевшие чудом после землетрясения, оказались на вершине горы, со всех сторон отрезанной от долины. Так они и ходили по кругу у вершины этого конуса, и ни ногу сменить не могли, ни развернуться. И постепенно левая пара их ног укорачивалась. Поколение за поколением. И рост ужимался, и очер-

тания истончались. И теперь, даже если бы их на руках отнесли бы в долину, они б там и шагу ступить не смогли, так и стояли б, как вкопанные, накрепко. Так и с душой случается.

Кто говорит?

Нет ни этих двоих, ни тех.

Он напротив нее, и она — через стол — напротив.

ФРАГМЕНТ 38.11

Странный ты человек, говорит Л., оборачиваясь к нему, отходя от окна. Она ж как кошка, только падает в небо, на все четыре. Она из тех, кто сколько бы ни летел, не разобьется. Рулит хвостом.

Она тоньше тонкого, но никогда не рвется. Надрывается, но не рвется.

И из тех, кто никуда не рвется. Чтоб не идти на поводу у цели, чтобы кроить бескровно птичьей повадкой головы.

Она никому себя не отдаст. И ничему. И не потому, что не хочет. Хочет, руку протягивает и отдергивает, как от ожога. А ожог — в голове. И задолго еще до ладони. А ладонь ее — чуть тепла. От усилий.

Она как по битому стеклу идет, поджимая лапы, дуя на них, но так, чтоб со стороны казалось: идет, танцует.

На ней рана — любая — поджимает губы, стягивается на глазах.

Л. вписывает цифры в клетки, постукивает по левому краю карандашом.

Это не слезы. Смола. Вязкая, переливчатая... Любит она янтарь?

Л. смотрит на огонек под расписным фарфоровым чайником на спиртовке.

Нет, это не радость в ней — то, о чем говоришь ты. Это, она щелкает пальцем в поисках слова, это как некий эрзац просветления перед смертью, распыленный во всю жизнь.

Ваши линии не должны были пересечься. Странный случай. Аномальное завихрение. Ты, что называется, с неба свалился. А она здесь не удерживается, вверх соскальзывает, запрокидываясь в него, в небо.

ФРАГМЕНТ 38.12

Что это — когда двое смотрят в лицо друг другу, молча, часами, на расстояньи дыханья? И, кажется, так и глядели бы — дни, годы. Нет, не рассматривая. И не созерцая. Чуть покачиваясь друг у друга в зрачках, перебирая легкими дупоненьями пальцев эту незрячую близость меж ними, как таблицы Брайдиса.

Два лица, намагниченных на иголку.

И еще в этом что-то от тихого взгляда в огонь. И от кровосмешенья.

Это лицестояние, лицекруженье, в котором ни женщины нет, ни мужчины.

Два открытых друг другу, текучих окна.

Как обмен жильем. Без ключей.

ФРАГМЕНТ 38.13

Что же это за остров такой мы намываем с нею? С собой намываем. Камни, повсюду камни. И мы — в них вмурованные. Язык вмурован, глаза вмурованы, грудь, ладони. В живые камни. В тягучую вязкую немоту. Не-мы-ту. Ни она, ни я, — не мы.

А развяжемся, разоидемся на час, на день — и нет ни камней, ни этого обложного, кессонного, донного... и, высвободившись, вернувшись в себя, говорим, говорим — все, что там не смогли с этим вязким камнем во рту сказать. И тянемся ртом, ладонью — туда, друг к другу, вмурованным в этот каменный студень, растущий к небу, покачивающийся над водой. Туда, где ни тропы, ни лодки у берегов.

Значит, что? Значит, нет? Или да, значит? Только нужно это еще прорасти вдвоем, прогореть, услышать? Даже если и нет, — да. Да, говорю. Не слышит.

Одна у нее душа. У нее душа. Не наоборот.

Потому и не слышит.

ФРАГМЕНТ 38.14

Давай, говорю, отпразднуем его день рожденья.

Кого? — приподнимает голову над подушкой.

Его, указываю на окно.

Окна?

Нет, дня. Недолгая жизнь у него, одно сегодня, до четырех. Давай, говорю, к пингвинам сходим. Они сродни этим дням. Попразднуем их, покормим. А там поглядим.

День уже угасал, пока мы добрались. Чайный жиденький свет над снегом. Рука из будки, просунувшая билеты, турникет подмерзший, ни души. Она подходит к карте, смотрит вверх, щурясь сквозь снег, шепча: пингвины, пингвины... Вот, за верблюдом, налево, значит, потом направо, потом...

Давай, говорю, по чувству пойдем, побродим чувством.

Идем. Двое сидят на ветке. Он и она. Гиббоны — почему-то хочется их назвать, хотя — кто его знает. Голое дерево, без кожи, тонкими длинными руками тянущееся вверх — куда? Нет там ничего.

Сидят на одной из верхних, единственной вверх не вскинутой. Он напротив нее. На расстояньи вытянутой руки. А руки у них длиннее тела. У него — опущены, у нее — сцеплены на ветке меж разведенных ног.

Он на нее смотрит, не сводя глаз, чуть подавшись вперед. Она — в сторону.

Он терпеливо ждет. Рука покачивается, приподнимаясь, он ее опускает, утишивая. Тянется к ней лицом. Но там, где должно быть ее лицо, — ухо, только ухо отвернутой от него головы.

Он теряет терпенье, протягивает руку — такую длинную, что она размывается в перспективе, бережно заводит ладонь за ее голову и поворачивает ее лицом к себе. Она смотрит на него, поерзывая руками, скашивая взгляд то вверх, то вбок.

Он отнимает руку и медленно возвращает ее вниз, под себя, покачивая в пустоте подвернутою ладонью, в которую летит снежок: розоватый смеркающийся — в розовую, подрагивающую пальцами.

Она нервно терпит. Качнулась к нему лицом, на миг уставясь в него, и отдернула голову на прежнее расстояние. Ее тяготит этот оптический коридор, она дует в него, томясь, пожевывая губами. И отворачивается. В ту же сторону, куда смотрела. Куда? Что там? Снег. Тишь. Ни души.

И все повторяется. Раз за разом — с интервалом две-три минуты.

Они сидят в смеркающемся небе под розовым снегом, не долетающим до земли. У них тонкие шеи, влажные медленные глаза и пальцы из длинного меда. Они сидят, луноликие, узкобедрые, в коротко стриженном серебре.

Снег, говорю, идет, видишь?

Да, отвечает. И, просунув ладонь мне в карман, греет мою, греет и воздух покусывает губами: да, да...

ФРАГМЕНТ 38.15

Маски. Дождь за окном со снегом. Она ложится на стол, обнажена по пояс, волосы под купальной шапочкой, желтой. Я густо смазываю вазелином ее лицо, развожу гипс водой... Потом мы оба слепка — ее и мой — выклеиваем из папье-маше. Пачка старых *Suddeutsche Zeitung* разбросана на полу меж нами. Она рвет лоскутья, просматривая перед тем, как вклеить. Некоторые откладывает. Видимо, не к лицу. Не к ее лицу. Завтра в городе карнавал. Мы купили два парика, один — типа моих волос, другой — ее типа. Краска на масках уже подсохла, пока мы их подстригали — почти точь-в-точь. Осталось наложить косметику. Это уже завтра. Завтра спим. Завтра, то есть уже послезавтра, придя с карнавала: я — с ее лицом, она — с моим.

В комнате темень, сбросив с себя все у порога, она, не включая свет, юркнула под одеяло.

Я на ощупь к ней приближаюсь: пятка, рука, лицо. Лицо в маске.

Она зажигает свечу у изголовья: мое — тоже.

Она скользит на спине в глубину, к стенке, и меня над собой, за собой тянет.

Я себя за собой тяну, я обхватываю себя ногами снизу, я приподнимаю голову и вглядываюсь в свои глаза, я вхожу в свое тело, содрогнувшееся от не меня, не меня с этим маленьким русым лицом...

Ужас, животный, живой, он лежит между нами как третий, в четыре руки нас прижавших друг другу.

Ужас, да, но под ним, но за ним... Этот зов, этот млечный, этот волчий вой крови, эта кровная бездна, под тобой разводящая ноги, эта сладкая смертная дрожь с твоим съевшим набок лицом.

Два лица — ничком, на кровати, уткнувшиеся в простыню. И два — на полу, пустыми глазницами к потолку.

Нет, ни дуновенья от этого чувства не было на карнавале. Город, наверно, люди, огни, собственно, карнавал. Помню, как она их переступила наутро зябкими худенькими ногами и скрылась в ванной. Тихо было. Вода лилась. Мы увиделись только несколько дней спустя.

ФРАГМЕНТ 38.16

Как ты думаешь, она говорит, глядя на ивы, стоящие у воды с опущенными в нее ветвями, как ты думаешь, это вода их притягивает или они к ней тянутся?

Что? — говорю, и не слышу ее, все пытаюсь припомнить эту сцену у Фаулза. Как же он назывался, этот длинный роман его, по имени героя...

Окрестности Лондона, лодка, воскресный день, такая же вот погода... Нет, теплее, конечно. В лодке — он, в ту пору еще студент Оксфорда, братство избранных, чуткие амбиции интеллектуала. И она — старшая сестра его невесты, как тайна сквозь тонкое кружево. Это мерцанье сквозь кружево их и сближает. Она тоньше и глубже душой, и пока еще старше.

На нем — белый апаш с закатанными рукавами, голые пятки упираются в поперечную планку у ее ног. При гребке он откидывается назад, запрокидывая голову к небу, и снова тянется к ней лицом, приближаясь и вновь откидываясь. На ней белое платье и шляпка соломенная. Он видит сокурсников, плывущих по соседней протоке, машет рукой. Ивы стоят вдоль реки, по обеим ее сторонам, наклонив головы, расчесываясь над водой.

Они уплывают все дальше, в чересполосицу разбредающей воды и низкорослой зелени. Они вплывают в мифический лес, затопленный недвижимой водой, цветущей, лишайной, с кривыми чернеющими промоинами, застланными на дне дымчато-шелковым небом. Лодка их вязнет в переливчатой тине, он закатывает штаны до колен, выходит и погружается в топь по пояс, лодка скользит с приподнятым носом, тихо перебирающими ее борт ладонями и девушкой, прижимающей шляпу к груди, на корме.

Что-то в воздухе тмится, она чувствует, будто незримые петли в нем, в воздухе, медленно стягиваются. Что-то в этих деревьях, не глядящих под ноги, в свои отраженья. Что-то в этом отсутствии звука, нарастающем, обложном. Где-то там, впереди, за вон тою корягой с развороченным ртом, захлебнувшимся тиной.

Они оба увидели, одновременно. Одновременно: она увидела, а он шагнул и с головою ушел под воду.

Мертвое, слепяще-белое, с гибким волнистым вывертом зануренное в тину тело девушки — как ветвь, ободранная до лыка. Запах тлена и тишь. И деревья над нею, отведшие головы в сторону. И мелкая, подслеповато цветущая тина, ее обступившая, как бы припавшая к ней, повторяя ее очертанья и безгубо сосущая эту тихую юнь разлагающейся белизны.

Мертвое тело, видимо, дни, не два, не три. Но в нем еще шла борьба. Незримая. Шла угасающими толчками. Меж красотой и ее разложением.

И когда он пришел в себя, и едва справляясь с накатывающей дурнотой, прикрывая ладонью рот, все пытался приблизиться и не мог, развернувши лодку кормой к затону и слегка оттолкнув ее от себя, и она скользила, удаляясь спиной, но взглядом, вспять обернутым через плечо, с каждым вздрогом плеча приближалась, не удалялась вместе с лодкой, а приближалась взглядом — к нему, к ней, к ним...

Близость была меж ними, когда вернулись. Странная близость. Подобрали одежду с пола и разошлись молча.

Он женился на младшей. Вскоре и старшая вышла замуж. Потом была жизнь, долгая, у обоих. Они встречались, сквозь тонкий узор, время от времени, и расплетались, боясь надорвать его, этот узор. Но никогда о том случае не вспоминали. И, наконец, к концу жизни вышли друг к другу, и, видимо, станут одним.

И никогда о том случае... Жизнь как пишет судьбу? Краской, кистью. Дальний план — той же кисточкой, что и ближний. Здесь, у переднего, нижнего края, пишет, прописывает, а там, вдали, наверху, мазнет — бегло, в одно касанье. Чем? Той же краской, что на кисточке остается. И снова вниз, к ближнему плану, не заметившему отлучки. К этой брэнчащей мелочи льющейся вдали воды, к этим утренним ивам, чешущим волосы над водой...

Ты что, не слышишь? — она останавливается, поворачивая ко мне лицо.

Слышу, говорю. Думаю, они пьют и плачут. Пьют и плачут.

ФРАГМЕНТ 38.17

Все королевство, говорит, в твоих руках.

С дороги звонит. А я — что в ответ? Нет, не сразу, а через пару фраз, пока вспомнить пытаюсь: да, Шекспир, но где? Лир? Гамлет? И в каком контексте? А тут их два — наш разговор и тот, откуда реплика. Вот и решай его — с двумя неизвестными.

А разговор тем временем движется, по сторонам пробираясь, и за спиной, в уже сказанном, все перестраивая. В этом потоке без берегов, в этом узоре встречных течений — что в руках моих, что в ее губах, поди разбери, наши лица то выныривают по сторонам себя, то погружаются.

Все королевство минус она? Лгнущая улыбка ее сквозь стекло, стекающее с Венеции.

Как же ответить так, чтоб она поняла, что я понял, при том что ловлю лишь эхо? Беглое, со спины, двоюродное. Продлить его, перепрятать?

Да, для забавы, говорю, как дети мухам, так боги людям обрывают крылья.

Не сразу, а через пару фраз, когда она спрашивает, лицом ли к окну я говорю с нею.

Да, говорю, метет за ним эти крылышки слюдяные. Дети, говорю. Как дети, они обрывают их. По всему королевству метет.

И она тоже, наверно, потом гадает — какие крылышки-дети, в каком контексте? Шекспир. Да, но где? Хотя ее память зорче, цепче. Магнитный там у нее кулачок — весь серебряный от булавок.

И вот они где-то сходятся, эти фразы, и что-то меж ними там происходит, а значит — с нами, здесь. Они нас видят, оттуда. Они нас водят, оттуда. А мы — .

У людей, так называемых, близких — какой разговор? Душевный. До бесчувствия. Будто сам с собою в обнимку сидишь. А не у близких — и разговора нет. В споре что рождается? Выкидыш. А меж нами что? Чуть покачивает между словом и смыслом, пока говоришь. А потом отойдешь,

обернешься: то, что лесом казалось, — озеро, и не озеро, а письмо, пепел, читай: лес.

Разговор прогорает по ходу, остается тепло недолгое, как в натопленной на ночь избе. А тут — будто горит не здесь, а далеко впереди, в будущем, а на губах только отблески пляшут той дали.

ФРАГМЕНТ 38.18

Этот город не окликнет тебя, пока ты жив. Он из тех, кто не выдаст, но и не даст тебе ничего. Он расступается перед тобой, соразмерно твоим шагам, и бесшумно смыкается за спиной.

Как-то мы упустили из виду, что сегодня опять карнавал, в днях заблудились. Она сидела в пустынном кафе, одна, за дальним столиком, спиной к окну с плещущим за ним людским потоком.

Привет. Как ты? Что-то случилось? — сказал, садясь, еще не взглядевшись в ее лицо, сказал с произвольной, какой-то чуть большей чуткостью, но не чувством, которое все еще озиралось по сторонам, не чуя, что с нею что-то...

Да, сказала и, не поднимая глаз, положила на стол мятый клочок бумаги. Черный с белыми точками, похожий на карту звездного неба.

Вот, сказала, приставив палец к одной из точек, обведенной карандашом, я беременна. И медленно подняла голову.

Я взял в ладони ее растерянное лицо с помаргивающими глазами, прильнувши лбом через стол ко лбу, шепча сквозь мокрые, затекающие ладони.

Обморок дней. Обморок их и морок. Дней с зажмуренными глазами, дней, закушенных, как губа в нескончаемом поцелуе. Дней, как язык в мороз, прикипевших к железу. Что ж ты, дитя, к железу льнешь? Или железо лижет тебя, дитя, зализывает?

Я люблю тебя, — он сказал, кинувшись к телефону. Ложь и нежность. Он сказал их впервые в жизни. Он помог им рукой. Они выпали из гнезда, подкидыши. Они хрустнули скорлупой, проклюнулись, голые, теплые, с заволоченным взглядом, не жильцы. Она взяла их в ладонь и прикрыла у сердца другою.

Она покачнулась. Это застигло ее врасплох. Почва ушла. Почва, на которой не оставалось следов.

Чудо, он говорит. Кто — он? Она вглядывается в него, как сквозь окно, инстинктивно пятясь. Дождь за окном, мутный, сплывающий по стеклу, пахнувший, как проявитель.

Как проявитель. Кто — он, обведенный карандашом, она видит часы повсюду с этим тиком секундной стрелки. Это не должно было с нею случиться. Она сыпется внутрь себя. Она падает вниз головой, царапая голые стены, ей не за что зацепиться.

Это же чудо, он говорит, а она бесшумно бьется о стены, падая, падая...

Она сгибается пополам. Она чувствует в животе *это* — как лапу, защемленную меж рельсами, техкающую, обвисшую. Она чувствует всю себя, как ту лапу.

Она зализывает себя лицом к стене. Она зализывает свой живот, прислушиваясь, как вода к Офелии.

Ее сад не здесь. Она не шаркает по земле. Она никогда не беременела.

Она не оставит следов. Она так видит. И все-таки предохраняется. Даже когда в этом нет необходимости.

Потому что она не все. Потому что она одна, и ей, как одной, виднее.

Даже после того, как врач, звездочет, сказал ей, что теперь она биологически вне опасности. И, удивившись себе, добавил, смягчив улыбкой: не рановато ль, для сорока неполных?

Пуще прежнего предохраняла. Себя. Со мною.

Это чудо, ей говорю, будто ангел вернул поезд, открыл двери перед тобою...

Она смотрит в глаза, не видя, она машет внутри себя головой.

Я говорю: мы не знали, кто мы друг другу, но это, обведенное карандашом, и есть наше *кто*. Я говорю о жизни, о

смысле, о всем, что есть у меня, всем, что будет, развернутым к этому свету меж нами, бог весть что говорю.

Она ведет перед собой ладонью. Она гладит воздух, повторяя мои очертанья. Она не отводит глаз от моих губ. Она смотрит с такой растеряннo-доверчивой улыбкой. Она никогда еще не была так красива. И это растет так пронзительно, что становится нестерпимым до рези в глазах, до обмяканья хребта. До утраты.

А она все ведет этой нежной незримой ладонью вдоль тела и замирает у самых болезненных точек, раскачиваясь ладонью, как в стойке змея.

Она начинает снизу. Она жалит не насмерть. Не убивает она, отнимает. Она отнимает-ся.

Почва нужна ей. Не для следа — для опоры. Нет в ней опоры для этого шага. Она не возьмет на себя этот шаг. Грех? Нет, шаг. Стать себя поперек — это грех.

У нее дрожат ноги. У нее нет опоры. Тот узор слишком тонок внутри нее, чтоб держать этот камень. Она хочет его снять с души, этот камень. У нее от моей теплоты как по коже мороз. От меня ей не свет, от которого темно в глазах, а опора нужна — в виде топи, беспутья, ни зги.

Она вводит ладони в меня, как ножи, по запястью. Она ищет тот нерв, на котором висит этот свет. Она ждет, когда он передернется, я не сдержусь и отвечу.

Родной мой.

Странно они звучат, эти слова, я их почти не вижу.

Очень трудно писать тебе. Больно. Наркоз отходит. Если письмо прервется, не тревожься, значит, легла.

Ночь в окне. Ты, наверно, звонишь. Я телефон отключила еще вчера.

Да, так я решила. Не мой это путь. Не наш.

Прости, я не смогла сказать тебе об этом — перед. Зная твоё отношение. Питер меня привез домой. Думала, справлюсь. Нет, ноги подкашивались. И сейчас туман.

Не любовь — то, что меж нами. Жизнь — ты говоришь. Я устала об этом. Отпусти меня, освободи себя. Я — не то, что ты ищешь. Ладно, не то, что *не ищешь*.

Ты говоришь, что я живу на кладбище. Что я ужаленная обочина. Что я стебель без розы. Что я светящийся кокон. Что у меня крылья растут внутрь. Что я иезуит эгоизма, писанный ангельской акварелью. Что я жизнь свою в кулачок заткнула, побелевший, заведенный за спину. Что еще? Что, наконец, я не женщина, потому что, по-твоему, женщина — это жертвенность, самозабвение. Я не дом, не любовь и не друг. Бог добра, говоришь, не коснулся меня. Всё? Всё. Конец цитаты.

Ты, наверно, пытался форсировать какое-то торможение в своей жизни. Мною. Через меня. Через знак умножения. Или сложенья. Только это больше смахивало на крест. Извини, с меня своего хватает. Мне так трудно было достичь с ним этого относительного равновесья...

У тебя в одной руке дудочка, а в другой топор. Ты одной рукою творишь, чаруешь, а другой — под собой рубишь. Я прошла через это, задолго еще до тебя, и не надо больше.

Ты не любишь себя, значит, ты не в себе. Стыд, говоришь? Нет, другое. Ну да это твоё дело — как кроить себя меж собой.

Голова кружится. Мы не вошли в наш Сад. Так и лежат наши тени по сторонам его, пьют кромку.

Ты говорил: мы не умнее своих тел, кожи. Дай им шанс, ты говорил, дай им, поводырям...

Я никогда не забуду твоей не этого мира нежности, не от этого — глаз твоих и ладоней, и голоса твоего, в котором я уплывала в ночь, как лодочке невесомости...

Третий час ночи. Я обнимаю тебя, уже с закрытыми, все дрожит.

Ноги шли через город. Слепо, в ее сторону, как оказалось. Ноги, не я. Мимо двугорбой церкви. Мимо пивных с такими же двугорбыми за столами, пожевывающими пену,

беззвучно, за стеклами. По направлению к западному кладбищу, конечная остановка метро в ее сторону. А остановка ее — крест, красный. А улица — *Amort*. Вот так, любовь и смерть, в одном слове склешенные, как собаки.

Крупа. Крупа метет, рваная, лоскутьями, вверх, вниз и по щеке — третьей.

Крысы, эти граверы Венеции. Почему? Почему вдруг?

Прислушивается, как вода к Офелии. Живот у нее такой. Мальчиком со спины. Красавка и белладонна.

А когда я спросил ее за несколько дней до: а если б ты вдруг забеременела?

Когда? — вздрогнула.

Сейчас.

Нет, говорит, уже невозможно.

Ну, вдруг, чудом? — как в воду глядел.

Чудом? Оставила б, говорит, если *бай ми... рикл*.

Метет, все в лицо метет, как ни повернись, в лицо. Павич говорит: есть два вида женской смерти — смерть матери и смерть девы. Первая — легкая, подобно еще одним родам. Вторая — космическая катастрофа: в смерти нерожавшей женщины воют сотни тысяч смертей, весь ее род от начала времен — по одну сторону, и весь будущий — по другую; в этой чудовищной воронке вырванной ветви древа жизни и вершится ее смерть. Павич. *Милорад*.

Мне же не двадцать, она говорит, не двадцать пять. Вот именно, говорю. Головой качает, отклоняясь всем телом, всей своей сжавшейся жизнью. Что ж, говорю, мало тебе? И остаток с собой зарыть? Не понимаю. Хуже: не чувствую. Где ты? Зачем и кто. Ладно, а если б не я, а он, Питер? Или тот, кого бы любила? Или — нет никого, только ты и жизнь в твоём животе? Что, ничего не меняет? Спроси. Нагнись к животу своему и спроси. Спроси у всего живого.

Она выдергивает свою ладонь из моей; там и не было ее ладони.

Она сжимает в кармане этот клочок звездного неба. Она отворачивается. Она не плачет, только плечи вздрагивают, она идет на красный, стиснув губы, глаза, кулачки в кар-

манах. Я едва успеваю ее подхватить на осевой. Она вырывается и обмякает вдруг, прижимаясь лбом к моему плечу, опустив руки.

Метет. Дома пошатывает. Метет, как метлами. Дома на метлах подергиваются, и не взлететь им. А ты себя спроси, не ее, себя, у всего живого в себе: кто — *ты*? Не слышу.

Любишь? Веришь? Держишь его на руках? Его, ее? Что? Не слышу!

Ты и себя на ногах не держишь. Так метет. Как в губную гармошечку, дует в лезвие топора. Господи, опусти нас на теплую землю.

Этот город, наверно, последним, как коврик, свернет старый ангел в мундире швейцара и понесет выколачивать. Старый ангел на тонких скрипучих ногах и с глазами вдовца.

Не понимаю. Он, этот Петропавел, отвез домой ее и в тот же день стерилизовался.

На седьмом десятке. Художник. В тот же день. На обратном пути. Зашел к врачу. И вышел — кем? Я не могу ответить. Там кончается Бог, или как угодно это ни назови.

Это даже не самоубийство. Ниже. Ниже пояса жизни. И не убийство. Гаже. И сверху еще лоснится этим будничным ханжеским прагматизмом. Здешнего, западного разлива.

Она рассказывает об этом, не отрываясь от нарезки огурца, тюк-тюк-тюк, под косым углом. Она говорит об этом между прочим, чуть пожимая плечом. Она находит мою реакцию диковатой. Мою тихую оторопь — диковатой. У него взрослый сын, она говорит, тюк-тюк-тюк, и сыпает в миску. Больше, она сдувает прядь, упавшую на глаза, он не хочет детей. В том числе неожиданных. Что же здесь непонятного? Просто предосторожность.

Просто, думаю, глядя на ее спину, просто сказала ему: это *твой* ребенок.

Знаешь, она говорит, он даже стал как-то спокойней в последнее время. Так и сказал, когда я спросила его о планах: жить, говорит, и подружелюбнее относиться к людям.

Она поливает оливковым, там уже и помидоры, и белый сыр.

Ну да, думаю, еще бы, как все их питомцы, кастрированные с молодых ногтей, — коты, собаки, куда уже дружелюбней.

Не солит, не сыпет перец. Вспомнил, как в первые дни, среди ночи, борщ приготовил, большую кастрюлю. Она у нее, видно, годы стояла, зияя. А на следующий день, пока меня не было, они с матерью уплетали его, дивясь. Борщ? — всякий раз переспрашивала она у дочери, высоко поднося к изумленному рту ложку.

Вынырнула, вышла на сушу, отряхнулась, как утка, и пошла.

Заглянул к доктору на обратном пути и вышел, помахивая хвостом. Дружелюбно.

А ты куда заглянул? В чужую судьбу? Отвернись. Прикрой дверь.

Девочка у нее в Тибете. Вроде заочной дочери. Она переводит деньги ее семье из каждой зарплаты. 15 лет. А девочке в этом году 16, школу заканчивает, пишет, что хочет приехать к ней, познакомиться. Даже не в деревушке живет, три двора на уступе скалы, занавешенной облаком. Школа в долине. Показывала фотографию. Косички торчком, вверх смеющееся лицо, без возраста, из красной необожженной глины. Здесь это все хорошо отлажено. Миссии милосердия. Белый крест. Выбрал край света, семью, пол, лицо и подписал бумаги.

И поженились они, и жили счастливо: я и ты, ты и Бетина, Питер и Пауль. И приезжает девочка из Тибета и выходит замуж за Питера с Паулем, и живут они счастливо, дружелюбно. Счастье — что же здесь непонятного — 70 сантиметров.

Худенькая настороженная спина, и это в ней внимательное напряженье, когда губами по ней ведешь, этот лег-

кий ресничный ток в два-три вольта, перехватывающий дыханье. Эти пугливые ямочки — там, внизу, со спины. Эти ладони, как растресканные зеркальца обратного вида, со спины. Эти ладони ее во тьме, инфракрасные, ночного виденья.

Она режет хлеб тонкими ломтиками, со спины.

Она наконец оборачивается, слезы в ее глазах.

Чей же он был? — молча гляжу ей в лицо. Молча.

Твой. — Она вздрагивает губами. — Твой, — и покачивает головой, отдаляясь.

38.19

Цвет подергивается, заикаясь, переходя в черно-белый, и вновь заливается цветом, не сплошь, оставляя пробелы.

Деревушку отсюда не видно, она за холмами, в долине. И моря не видно, оно в получасе езды по ухабам проселочной. Лишь дом пастуха на холме — все, что видно отсюда, помимо холмов и оливковых рощ между ними, и этой мелеющей дали.

Раймондо, пастух. Он живет один. Он, кажется, глухонемой. Это не так.

Он одет в овчину, зимой и летом, в одну и ту же, белую с рыжими, как подгорелыми, опалинами. И овчинный колпак, заломленный набок. Белая витиеватая палка с сучковатыми шанкрами.

Щетина с проседью — как мокрый гравий с битой ракушкой.

Уши торчком, рапаные, с перламутром на алой подкладке.

Глаза голубые, под восходящим углом к переносице.

Губы чуть вздернуты — верхняя, будто спутри языком ведет по зубам, прочищая их с этой тягостно-сладоэстрастной гримасой, с этим забытым на полпути к цели усиьем.

Он идет по холмам, собирая камни. Он складывает их горками. Здесь, в Сардинии, все собирают камни и обкладывают ими, укрепляя, все, что видят.

В других землях роют ямы, а здесь и палку не воткнуть, обкладывают камнями.

Он ходит и собирает их, катит вниз, вверх волочит, обкладывает все, что видит: ручей, деревья, тропу, уже почти бесследную.

Он разговаривает с камнями, как глухонемой. Он то и дело прерывается для этих объяснений и вдруг замирает и медленно оборачивается: она, Бетина, опускает бинокль.

Порой он подходит к ее дому и стоит, глядя в воздух перед собой.

Он так же рассматривает воздух, как мы — видимые предметы, чуть рассеянным взглядом, когда думаем о другом.

Он стоит, опершись на палку, и смотрит воздух перед собой, будто читает книгу с плывущими в глазах строчками.

Он может стоять так часами, днями. Она в окно выгляет, он качнет головой, будто страницу перевернет взглядом.

Она говорит: он на фавна похож. На утраченного фавна, вычеркнутого из времени, не вошедшего в хрестоматию.

Она говорит: как это будет по-русски — чокнутый, но по-хорошему и с некоторым острашением?

Ей нравится это слово, хотя и неверное, она пожевывает его фонетику, как маслину, и сплевывает косточку, усмехнувшись в ладонь: «дурбэлык».

Овцы у него разгуливают по дому с земляным полом, вогнутым к середине. Сумрак, маленькие низкие окна. Печь в углу, стол, лежанка.

Они позвякивают колокольцами, входя в дом, сгрудившись у его головы просыпающейся, глядя ему в лицо во тьме светающей.

Они текут по холму вверх, он разговаривает руками — с той, все время оглядывающейся на него, последней.

Восходит. Он ложится на спину, прикрывает шапкой лицо.

«Рено» пылит по дороге, останавливается у крыльца, они выходят, скрываются в доме.

Зеркало запотеваает, они стоят под душем: рослая черноволосая смуглая, выгнувшись и подставив лицо с зажмуренными глазами и нестерпимой улыбкой под струи, держит в ладонях эту нежную мокрую русую голову, прильнувшую к ее груди.

Она ведет пальцами вниз, по изгибу шеи к чуть приподнятому плечу, обмякающему под ладонью, вместе с телом, скользящим вниз, обмякающим, обхватив колени, смуглые, подгибающиеся и скользящие в сторону, мимо губ.

Обе лежат на мраморе, расплетясь, подрагивая, подоткнувшись друг к другу калачиком, не отражаясь в зеркале, под упругими струями заволакиваясь пленой пара.

Он выходит, неся ее на руках, голую, неподвижную, тихую, с безвольно свисающей головой, и опускает на пол.

И пока она стоит на коленях, покачиваясь, упираясь руками в землю, он идет за другой, смуглой, и возвращается, неся ее на руках, и ставит рядом.

И покрывает овчиной — одну, а потом другую. И обвязывает этот покров веревкой, и стягивает их между собой.

И они стоят, щекой к щеке, не открывая глаз, покачиваясь, позвякивая колокольцами.

И он задирает овчину сзади — вначале на смуглой, затем на светлой. И ждет, глядя, перебирая воздух перед собой руками.

И смуглая вздрагивает, заваливаясь вперед, а светлая, удерживая равновесие, отклоняется, пятится, насаживаясь на его кривой буреломный, перехваченный у основанья мокрыми заскорузлыми пальцами.

Она насаживается толчками, пытаясь его протолкнуть в себя, переглотнуть, как ком в горле.

Она насаживается до корня, покачиваясь там, вся в слезах. Покачиваясь, молча, закусив губы, прядая ноздрями, подрагивая головой.

А он перебирает воздух перед собой высвободившимися руками и опускает их на спину той, другой, смуглой, заваливающейся вперед, лицом в пол, и погружает пальцы в ее шерсть, подтягивая к себе и отталкивая в такт движеньям своих бедер, схлестываемых с этим маленьким мокрым белым, с этим жалобным взрыдом утробным вспять тесного воздуха.

И он рвет на себя руками шерсть на смуглой и отбрасывает ее от себя, и она, пустая, вскрикивает, будто в нее входят, и еще сильнее прижимается к светлой, через нее чувствуя, через нее, зажмуренную, с беззвучно закушенной губой.

И та, светлая, чувствует, как она льнет к ней глазом, ухом вжимаясь в ухо, всасывая в себя сквозь кожу все, что у той внутри, высвобождая ее голос, зрение, слух, дрожь, мокрое колотье в горле и животе.

Высвобождая ее, светлую, оплывающую, отплывающую от земли.

И он все перебирает воздух перед собой, сучит его ей вослед.

И смуглая сворачивается клубком на полу, одна, на маленькой светлой овчинке, прильнув к ней щекой, и закрывает глаза.

И на гудящем от зноя холме Раймондо сдвигает с лица шапку и открывает глаза.

Звон колокольцев вдали, на другом холме, он смотрит в бинокль, берет чуть ниже, ведет по тропе, в сторону дома — ее. Замирает. Смотрит поверх бинокля, встряхивает головой, клонит ее к плечу, вновь припадает, смотрит.

Люди, много, у дома ее, в саду, женщины и мужчины, голые, на головах стоят и разводят ноги. То сводят их, то разводят. Он опускает бинокль. Он взволнован.

Он озирается, пожимая воздух вокруг себя взволнованными руками.

Он разговаривает с ними, с руками.

Он становится на руки, вытянув ноги вверх, он разворачивается головой в сторону тех людей, мир приходит в исходное равновесие, радостно подергиваются, мыча, его сковырнутые улыбкой губы.

Цвет, и опять разбивается о черно-белый. И никаких переходов.

ФРАГМЕНТ 38.20

Постой, говорю, не открывай дверь. Давай так побудем немного. Через закрытую. Мы так давно не виделись.

Да, доносится из-за двери, и голос будто бы не ее, чуть глуше, ниже. Потому, наверное, что через дверь.

Да, говорит, жизнь тому.

Молчим.

Ты здесь?

Да.

Хорошо, что у тебя нет глазка.

Как у белочки. Для охотника.

Тихо так говорит. Я стою, прислонившись виском к щели, и мне кажется, слышу ее дыханье.

Для охотника, говорит, на глазок.

На тебе, говорю, сейчас... Белый, да? А низ... Подожди. Нет, не чувствую.

Тоже белый.

А рука? Чуть приподнята над головой и ладонью лежит на двери?

Ты по-прежнему ничего не видишь, говорит, из того, что не хочешь.

Пес родства, говорю, лег в углу и в глаза не глядит.

Ничего очевидного, шепчет в щель, ничего очевидного между..

Помнишь, мы с тобой собирались в Индию?

Да, говорит, и в Крым.

Или мы уже были там?

Да, остаток больше делимого.

И не вернулись.

Были.

Ты помнишь их?

Молчит. Дверь медленно приоткрывает.

Нет, я не отпрянул, испуга не было. Даже напротив — чуть качнулся вперед. Или качнулся, не видя еще, по инерции, в сумрак ее коридора, а потом... Нет, не испуг, а как

это бывает во сне, когда видишь, как бы чуть с опозданием — на фразу, на шаг, на то, что ему уже открылось за поворотом, а тебе — только вот-вот, через миг откроется. Но с ним-то уже ничего не случилось, а вы-то ведь с ним одно.

Смерть. Маленькая, холодная, со вскинутыми бровями смерть ткнулась в меня своим мануфактурным личиком и обвила руками.

Венецианская, говорит, снимая маску.

Вижу, говорю, что не русская. Давно не виделись. Может, поцеловать?

Смотрит в пол, поглядывая исподлобья. И та, покачиваясь на стрипке в руке опущенной, тоже в пол, поглядывая исподлобья.

На ней белые легкие шаровары, внизу на веревочках, и белая цельная рубаша без ворота. Чуть похудела, кажется. Хотя куда уже. Губы, они все так же едва подрагивают в этом беззвучном шепоте, который не говорит, а твою речь развязывает, исподволь подергивает ее за нити: *что, что, моя хорошая...*

Тот же стол смоляной, тот же талый, чуть косоглазый свет, та же белая тишь, как в сугробе.

И, говорю, — как всегда?

Что — как всегда?

Счастлива?

Кладет ладонь на мою. Чуть поглаживает.

Чаю?

Да, говорю, им чаю, а нам? Водки?

Она наклоняется над столом, приподнимает мою ладонь в своей, разглядывает, перебирает пальцы.

Пять, говорю, можешь не пересчитывать, всего пять осталось.

Нет, она покачивает головой, нет, говорит глазами.

Да, говорю, не разжимая губ, ты же знаешь, это уже никогда не кончится. И на том свете, и через тысячу лет, никогда. Потому что это не здесь, не теперь, не с нами.

Нет, сжимает мою ладонь, не здесь, не надо.

Чайник свистит. Она вздрагивает. Босиком скользит, чуть заносит ее в дверях, на повороте, оттолкнулась рукой, тихо.

А это кто, киваю головой на стену, где висит маска, еще не раскрашенная, с открытым, слоновьим, смеющимся ртом. Питер?

Она переводит взгляд от маски ко мне и опять к маске.

Нет, говорю. Ну разве что верхняя часть. А рот — Питера. А нос — Сирано.

Я знаю, о чем она. Я знаю по этому угловому взгляду. Угловому, ниточно натянутому обоюдно отведенными друг от друга настороженными головами. И я об этом.

Нет, говорю, это самоповтор.

Молчит. Смотрит. Подрагивают.

Думаешь? — приподнимаюсь. Да? Темы и вариации?

Покачивает головой.

Нет? — сажусь.

Свет гаснет. Точней, медленно сходит на нет. В чьей руке? В чьей — это колесико на реле? Она перебирает пальцы.

Она заводит мне руки за спину. Она перебирает мое лицо. Она обшептывает глаза. Она проникает в ноздри, дразнит их кончиком языка. Она уворачивается губами, подныривая под подбородок, снизу подсасывая, как рыба — лед.

Она одна, но чьи ступни тогда отбегают и возвращаются со спины?

Она затыкает мое лицо этой маленькой смертью с клеенчатым запахом, с этой детской стрипкой, врезавшейся в затылок.

Она правит на ощупь, из-за расхлябанно болтающейся на ее лице той, со слоновьим смеющимся ртом, из которого, чуть вжимаясь в себя, она смотрит.

Изо рта — его, Питера, — смотрит. А мои глаза — там, на темени, смотрят вверх, раскачиваясь на ее голове.

Мы сидим на полу, вжимаясь друг в друга, пятки ее сомкнуты за моей спиной, как и мои за ее — захват в захват.

Она набрасывает на меня свои руки петлями, схлестываясь всем телом, набегающим снизу вверх. И от этого Питер всякий раз запрокидывается и кивает слоновьим разинутым стонущим ртом.

Она плачет? Смеется? Сжав губы, кричит? У нее там внутри — то сожмется все вдруг, будто кто от груди отнимает младенца, то вздохнет и обмякнет, словно дух из нее изошел с этим трубным рыданьем срамным.

Снизу вверх она содрогается волнообразно, будто кнут с болевым наконечником, с этим выщелком лиц друг о друга.

В узел вяжет ладони свои за мою спиной, шелк ладоней, скользит и не держит.

Она срывает лицо — с себя, с меня, она прикипает к моим губам и сосет, сосет, как грудной ребенок, жмурясь, постанывая, скребя по моим плечам переминающимися ладонями.

ФРАГМЕНТ 38.21

Передергивается. Все передергивается.

Мгла предутренняя, несветающая. Дни, идущие чуть впереди, в три четверти, со спины. Эти бережно сторонящиеся людей три четверти. У всего, что отмечено жизнью.

Я пытаюсь открыть глаза. И не могу. Потому что — открыты. Потому что она — это я.

Ты, говорю, ты... — он прикладывает к губам палец.

Он спеленат в свою мать. Он кладет меня с нею третьей. Как матрешка — одна в одну.

Он не вышел еще на сушу. Он не делится ни на что. Он — кровосмешенье всего со всем. И называет это родством, близостью.

Он — как Хома Брут и Панночка в одном лице. Он бьет о меловой круг своего родства. Вслепую. Как Панночка-космос об атмосферу.

Он говорит, что знает голос каждого из моих пальцев. Каждый волос — по имени. И глаза — весь их лес, говорит, — по запаху.

Странно. При этой его невнимательности, при этом бездомьи его чувств. Без поводков к ним. Такая открытость. Будто он с того света.

Если отсюда, он говорит, смотреть. И к щеке моей льнет.

Как воздух плывет. Или на ветер ложится. Как на крыло. Два-три взмаха, но когда он их делает? До, всегда до того, как тыловишь его во взгляде. До или после. Плывет на крыле, опустив к плечу голову и прикрыв глаза, будто держит незримую скрипку. Но при этом открыты, приближены, смотрят в тебя.

Если отсюда смотреть.

Как якорек плавучий, за кормой, в небе.

Родство, теплота... А потом — парниковый эффект. Вот обратная сторона его детства до гроба.

Странно, не любит воду. Почти не пьет ее. И под душем когда стоит, видно — насколько это не в его обиходе.

Насколько это лишь потому, что я рядом. Странно, но запах его неизменен. Запах земли, летней ее полутени под соснами. Охра игольчатая, сухая. Чуть с муравьиною кислотой.

Он живет, как синтаксис его языка. Синтаксис оборотня, химеры. Голова птичья, тело льва, крылья дыбом и хвост рыбий. Он движется в любом режиме, смотря с какой ноги встанет, ступит. И трижды еще по пути сменит ногу. И этот прищур со хмельком-огоньком на реальность — видали, мол, и не такое. Синтаксис ангелов в свальном грехе, когда те к дочерям человеческим входили. Без знаков, без точек. На ветер.

Работа в движении, говорит.

Но это ведь жизнь, а не Джойс — то, что меж нами.

В движении, говорит. Как процесс письма. Что-то вычеркивает, вписывает поверх, меняет события местами, кроит.

Всё родней, всё теплей — отчужденнее, то есть.

Не слышит.

Предай земле, говорю, не тревожь тени, не вызывай духов.

Заведи, говорю, дом, жену, пса... Послушай мудрых.

Смеется: что на земле мудрость, то у нас пошлость, правда? — скворцу говорит, раскачивающемуся над ним на ветке.

Ты, говорю, как деревце на плече, носишь нашу историю, как саженец — то там привьешь, то там, и опять переносишь.

Да, говорит, образно. Хожу и обмакиваю, как перо в чернильницы.

Он живет в черновиках времени.

Он вьет гнезда из слов.

Он тунгус, рядом с ним отклоняются все стрелки.

Он читает меня по губам пальцем.

Его отношение к людям неясно.

Он травит свою судьбу, как пес кота: передними лапами настигая, а задними пятясь. Одновременно — и лает, и машет хвостом. И отходит от дерева, пожимая плечами.

Не судьбу, улыбается, а... — смотрит вверх, не может найти слово.

Рвет рубахи родства на груди, а сам вьется по следу *иного*.

Странно все это. И действительно — будто нет конца. И в который раз уже нет его. Как река — то под землю уходит, то снова высверкивает, шнурует даль.

Стихло. Оборвалось. Всё, кажется. Дни, недели. И вдруг звонок: ты посмотри, говорит, ты посмотри сверху — что пишется!..

Она открывает глаза. Она висит на моих ресницах. И в глубине ее глаз — будто пламя свечи, той, между нами, взвивавшейся и опадавшей. Она покручивает реле: больше... меньше...

Маски — обе — уже на стене, на одном гвозде. Больше... меньше...

Молчит. Смотрит, верложит губами и головой подергивает по-птичьи.

Ну — скажи же.

И совсем тихо, в плечо мне:

Не думала... что это будет... так... легко.

ФРАГМЕНТ 39

Он говорит, что уходит в меня, как вода в песок. Он вымывает меня, как полость. Песок на губах, говорит, долгого, как Ганг, поцелуя.

Тот, в пустыне, полуживой обмылок, лицом в песок — так пить не хочет, как я... что? Говорить с тобой? Нет ведь. Хотя и слова тоже. Пусть плывут, облака. Они похожи. На все что хочешь. Говорить, то есть быть меж ними, пить. Он говорит: пить...

Будто дом осел со всею округой и светом над ним — такая нежность защемленная в его чертах, голосе, такая растерянность в его лице, ладонях.

Это ж ребенок, он говорит, то, что меж нами. Такой трудный, он говорит, как ангел, и только-только ходить начал.... Куда ж его — завернуть, втоптать, забыть, деть? Пить, говорит, пить...

Это рубашки судеб разные, а душа — сестра. Две сестры через столько тысяч лет встретились. Расстегни, говорит, ворот, высвободи лицо, руки, вышагни из рубахи.

Перебором. Правая рука твоя перебором играет — здесь, в настоящем, у живота, а левая по ладам скользит — там, в стороне, в будущем. *В буду с чем?* Прислушиваешься, перебирая.

Он говорит, что любить меня, как висеть во тьме на стене разлома Марианской впадины. Он говорит, что там живут существа, похожие на горящие под тобой города в ночи. Они плывут, перебирая водорослями своих разноэтажных улиц. Они прозрачны настолько, что видно каждую из квартир. Есть там и пустыри, и брошенные кварталы, и улицы-призраки, текущие сквозь дома из одной части города в другую, и ажурные дыры, и изумрудные муравейники, и старинные кладбища с парящими над ними зрителями в неоновых плащ-палатках.

Он говорит, я похожа на этот плывущий светящийся лабиринт, где нет границ меж растением и организмом,

организмом и водой в его арках сквозных и колоннадах света, между ним и тобой, затерявшимся в нем.

Он говорит, что глаза у этого города могут быть на самой его окраине, за тьмой, сквозь которую нет дорог, на хуторе, величиной в одну избу с горящими окнами — это и есть глаза, мигающие во мглу. Но от этого ли города они? Плынут с ним, да. Но знают ли, чувствуют ли этот город, за ними плывущий? Да и за ними ли? Он вращается, переплетаясь с водой, образуя все новый и новый узор.

Они общаются с помощью световых импульсов. Видя себе подобных, они испускают в их сторону световые сигналы — в сторону, по касательной, но никогда не в само существо. Они считывают на лету эти пронесшиеся мимо плевочки. Вся мгла прошита их трассирующими разговорами. Этими вспышками реплик в сторону. В сторону, в воду, во тьму. И никогда — в лицо.

Он говорит, что они оплывают друг друга, никогда не сплетаясь. А со дна поблескивают осколочным крошечком, как разбитые зеркальца.

Никогда, говорит, кроме нашего случая.

Он и сам похож на морского конька. В эту гулкую бездну чудес замурованного. Он и движется с помощью тика, как аритмичное сердце. Как в раю заблудившийся, и спросить не у кого.

Он и детей вынашивает после любви, как морской конек. Мужчины у них вынашивают. И губы у них — как улыбка, стянутая в чувственную присосочку. И глаза удивленные — в детских круглых очках без стекол.

Они похожи на рассыпанные буквы — одну и ту же. Они висят над бездной, как мерцающие брелки без ключей. Как разомкнутые восьмерки, меченые, смертные.

Он говорит: душа не у каждого. Это так редко случается, когда они вьют гнезда в людях. С тобой, говорит, это почти случилось.

Что значит *почти*?

Свила, говорит, и не вселилась. Может, еще обернется...

А у тебя, говорю, есть она?

О ней ведь не скажешь: есть. *Бывает.*

А Бог — тоже *бывает*?

Нет, говорит, этот — повсюду. Повсюду, где неполнота жизни.

Во мне, например?

В тебе? — вглядывается с прищуром.

На этом снимке, в горах. Или здесь, где я со спины, а там, где должна быть моя голова, — его лицо, хохочущее.

Ничего, говорит, нет щеотнее счастья. Ты и жизнь. И двухголосье — от птичьего гомона до тихого губокруженья...

А потом как-то вдруг начинает накрапывать. Ниоткуда. И потянутся сны, как бесконечный товарный состав, а ты стоишь на переезде и ловишь в промелях меж вагонами ту сторону, тот свет, ловишь зрачком, исполосованным, как быстрыми лезвиями, этой насечкой промельков, а поезд все набирает ход, сливаясь в одну непрерывную полосу.

И вдруг — нет ее; тишь, даль. Эта мелко дрожащая тишь за переездом, эта зоркая щуплая даль, зуб на зуб не попадающая. И воздух — паленый, зернистый, как на незримой дрезине скользящий по рельсам. И поезд ложится в траву за поворотом, поблескивая на закате, как сухая змеиная кожа.

Поддержи, говорит, пока я прикурю.

Кого? — спрашиваю.

Отношения, говорит, их надо поддерживать. Пока они маленькие, как ребенок. Вырастут и уйдут. А пока — надо поддерживать. Как огонек, подкладывать в него с двух сторон и чуть больше, чем ты имеешь, на вырост. И так, чтобы воздух был между ветками, чтоб не чадил, задыхаясь.

Горы, он говорит, сильные горы воды, кренясь, обваливаются на берег. Январь месяц, ужавшаяся к соснам голая

полоска пляжа. Женщина в синем мокром плаще стоит, запрокинув голову к радуге, осыпаемой брызгами. Он подходит к ней, говорит: я Вас очень прошу, не могли бы Вы, когда я вернусь, растереть мне голову полотенцем. И уходит в эти горы воды, и они обваливаются за ним. Она стоит с его полотенцем, и перед глазами — его лицо, обернувшееся к ней под нависшим над ним высоко в небе гребнем. Она чувствует, как мутятся ее очертания, сливаясь с его взглядом. Она прижимает к губам рвущееся из рук полотенце, летящее над голой землей — во всю ее жизнь, — припадая к ней и взмывая.

Да, мы совпадаем с ним в какой-то нестерпимо интенсивной точке. Той точке, которая есть, наверно, у каждого. Как слепое пятно. Незримая, неошутимая, неименуемая, где-то там, за обиходом жизни, за ее меловым кругом. И мы, наверно, и не должны ее чувствовать. Очень личная, безотчетная память о ее непроглядном присутствии, о ее чутком пуповинном сопутствии, дальше дали, в мучительно неразличимой близости. Это то, что ни с кем не разделишь. Начиная с себя.

Видно, в каждом из нас есть эта точка, не от жизни, неподвластная ей, и у каждого эта точка своя. И жизнь ее терпит, как может, собой прикрывая, и нас на себя отвлекает. И кажется, нет сообщения ни между ними, ни между этими точками в нас. И не должно быть.

Да, говорит, не должно и не может, но видишь — случилось.

И глаза у него как из-под воды всплывают. Те глаза, о которых он говорил, два окна в стороне, без дороги, за тьмою.

Отпусти, говорю, с этим ведь не живут.

Не живут, говорит, это верно. А что ж с этим делают?

Собери волосы, говорит, разотри голову..

13 × 18, глянec.

Поддерживай, говорит. Не выпускай из рук. Пока догорит до пальцев.

И раздевает меня, как не человек. И я под руками его себя чувствую каким-то другим существом, не человеческим. Что там — вглядываюсь сквозь него, — за тем небом, куда отлетают души незрячих детей и зверей? Он стоит передо мной голый во тьме, зияя, как пауза, затянувшаяся между словами, между его ладонями, меж которыми — я.

И кажется, когда не станет его, он уйдет за край того неба. За тот край, за которым уже ничего нет. За который идти некому.

Нет никого и не будет ближе, он говорит. И раздевает меня с таким удивленным трепетом, как будто впервые видит — как жизнь. И обнимает, всем телом прижавшись, как будто меня у него отнимают — как жизнь.

Ну что ты, шепчу, я здесь, здесь, с тобой.

И входит в меня так долго, так медленно, что время, густея во мне, схватываясь, замирает, вздрагивая: он, я; он, я... И кажется, только там оно еще держится, перехватывая себя, как дыханье.

Как ребенок, лежит там, во мне. Как любовь с ребенком. Как роды наоборот. Только боль не там, а впереди — за ним, над ним. Будто небо отклеивают от земли, эти белые нити. В нем. В этом ребенке-смертнике.

Песок, он говорит. Песок в глазах. У жизни в глазах песок.

На этом снимке. И здесь, где мы у окна, в размыве.

ФРАГМЕНТ 40

Нет сюжета у жизни, все разрознено: птица, озеро, небо, зелень — все на белую нитку взгляда. Женщины от любви стареют. Тишь. Ни пса, одни газоны лежат, распластаны, стервенея от зелени, и за ними — по горло врытые в землю, закусившие губы дома.

Это как письмо левой руке от правой. Что они могут, разве что ладони прижать к лицу — на двоих одному? Шаги в тишине считать, их аритмию, да? На словах все висит, как белье на прищепках. Не будь их: дунет — и нет ничего. Как не было. И не буди меня, пока вьется эта ласточка-жизнь, то есть речь пока бьется в это стекло у губ. И не целуй, не прижигай губами дрожь эту, шемь. Не трожь, говорит Господь, посадив дерево. Дерево посадив, сына на нем распялив и написав книгу. Вот, фигу они держат в кармане, эти лебеди, алую ороговевшую во внутреннем боковом.

А я тебя в живот зашил и ношу. Тебя вместе с дочерью, которую ты вырезала из себя, как змеиный укус вырезают. Помнишь ту воздушную помпочку, ты взяла ее в Индию и носила под клапаном рюкзака эту ядоотсоску, похожую на лицо младенца под кислородной маской, мы смеялись, причмокивая ее друг другу, голые, под москитной сеткой, расходящейся от потолка конусом и заправленной под матрац, и обезьяны по кругу ходили, перебирая эту старческую в лучистых морщинах сеть и чесались от смеха, и лица вытягивали, как в кривых зеркалах, и пахло от них обувным кремом, и — на мгновенье — из-под твоей подмышки: будто панночки перебирают лапами вокруг Хомы.

Я ношу тебя в животе, а в тебе — еще одну, или еще одного — кто же теперь расслышит. Как в мешке снежок, а внутри мешок и еще снежок, и еще мешочек — перетянутые у горла.

Ты свободна, теперь ты вдвойне свободна — от меня, от себя... Точней, от того, что в тебе было. Я тебя не вынашиваю, — не морской конек. И не сторож тебе. Я, как яму воздушную, ношу тебя, и в тебе — еще одну. Не в себе. Ну а кто в себе? Не душа ведь.

Греешь, теплишь в руках, словно карты таро, перед тем как раскладывать... Собственно, этим все и кончается, то есть то, что до этого, — жизнь, а потом — дай-то боже с собой сродниться, перевернутым.

ФРАГМЕНТ 40.1

Ты (он вздрогнул, поймавши себя на том, что давно глядит в этот ноль, чуть подернутый тонким ледком, в этот глаз лебединый, покачивающийся у его лица, и подумал: у смерти, наверно, такой же, и маленькая белая голова с этим сплюсненным алым ороговевшим ртом)... Ты, говорю, и лишь круги в зеркалах расходятся от тебя, а меж зеркалами дверей вереницы — распахнутых, запертых, полуприкрытых; смех из одной доносится — детский; старческий — из другой. Из каких же миров ты соткана? Тверже камня, воды текучей, девочка-ветер в женщине-пепле.

Ты, говорю, и губы мои
внутри подворачиваются,
будто выкачан воздух — весь, из всего.
Разве это любовь, говорила ты,
не разжимая губ, и головой покачивала —
как с того берега Леты — так далека, и так
до дрожи близка, кожи ближе, кожи —
одной у нас на двоих, под которой мы спали,
как под простынкой, еле прикрывшись ею.

Не любовь, нет, что-то большее между нами.
Этот мир на просвет с прорывающей тайнописью,
эти голосники повсюду — так что слышен
каждый волос воды, эта пыльца крылатая
на подушечках пальцев и в уголках губ, это когда
глаз вдруг становится больше, чем мир, когда
слух простирается дальше, чем звук, когда
вяжутся завязи смыслов повсюду, во всем —
на тоненьких спицах со скоростью света,
но чувство их за руку ловит, оно чуть быстрее.

Это когда с двух сторон жизнь и смерть
вдруг вплотную подходят к тебе и стоят на иголках,
и держат тебя меж собой на весу, и ты слышишь
сердцебиенье свое в каждой складке пространства —
в камне, в птице, в древесной коре, в каждой пяди,
в тебе, не в себе. Не в себе. Тебя нет. В том и чудо:
нет тебя, но ты есть — есть повсюду. Не рай, не нирвана,
а хищная форма простого глагола to be.

Он встает, отряхивается: а пафосу-то, пафосу —
как на Патмосе. Пыль,
белая пыль вьется за нею —
мел Эллады со слюдяным песком иудеев,
и оседает где-то под Веной, Грацем, на тех горах,
где розы ветров ее распускают на все четыре,
шесть, восемь, и нигде ее нет. Начинаясь в любой
точке, она не оканчивается нигде, морзянка,
белочка-марсианка — как та закапывает в землю
орешки жизни, а потом не может найти.

Не любовь,
говорит. Если Бог мог начать этот мир с любой точки —
не любовь, не истина.
А если только с одной —
той единственной, с которой и начал,
что ж он за Бог тогда — без свободы выбора?

Чистое такое в ней и высокое, как над этим озером,
небо, только все внизу, перевернутое.
И душа ее —
как узор морозный на стекле во тьме, бог весть где,
с чуть оплывшей проталинкой от дыхания.

ФРАГМЕНТ 40.2

Странно, хотя и не мудрено,
что говорю о тебе то в первом лице, то во втором,
то в третьем. Было б четвертое, я б говорил и в пятом,
и минус восьмом. Даже в имени твоём лицо
спрятано; только стебель, шипы и листья,
а лица, то есть лиц — по числу лепестков —
нет: помутнение воздуха, маленькая воронка
вдоха над стеблем. Вдоха, не выдоха —
как на зеркальце неба. Не выдала б ты себя,
будь твоя воля, но ведь родилась... На вдохе,
видимо.

И все твоё существо так соткано,
что сквозь тебя или рядом с тобой, или даже
спиной к тебе чувствуешь, как все вокруг
проступает, не то чтобы в наготу целомудренной
или каком-то нечеловечьем доверии... а вот дерево
тронуло за плечо тебя, не оборачивайся, или камень —
как в инфракрасных лучах, и ты видишь, как он
паутиnist внутри, и техкает крохотная пустота —
там, в глубине его, будто в коконе бог созревает.

И этого не объяснить, потому что, как правило,
все вытаптываем вокруг себя — ногой, головой,
словами, настаиваем на себе, не настаиваемся,
ни мы, ни мир не настаиваются, не приходят
к той вяжущей слух прозрачности, чуткой тяжести
тишины, по сравнению с которой земная тяга
только пятки покалывает. Да, акустика,
за неимением лучшего, это слово, её степень
и есть человек как мера.

Почему же так происходит, что как мусор живем,
как на свалке самих себя. Почему эти шесть
пресловутых чувств — как лопаты у нас, как заступы.

Или грабли, в лучшем случае на которые...
Павел, Павел, трудно тебе идти против рожна.
Даже сердцем вытаптываем. Может, дело в смерти,
стоящей за нашей дверью, в этом отсвете из-под двери?
А дверь стоит во широком поле.
А поле где? Под обрез страницы.

Это как спят с глазами открытыми, отвернувшись лицом
к себе, вслушиваясь в эти шаги по лицу, как по гравию...
Или это радио со съехавшей в зону помех волной?

Как правило. А те немногие, как она, наверно,
могут жить в этом мире и в одиночку, как
в одиночке. Тоненькая, она и похожа была
на единичку, едва дотягиваясь губами до ямочки
у меня под горлом. Если б, она говорила,
я была маленькой птицей, я бы свила гнездо там,
но так, чтобы ты не почувствовал. Я перелатывал
нежность с грехом пополам и со щекотным ознобом
от губ её там, в этой лунке, и взгляда поверх
всего, что в пределах земных, человеческих.
Беретик с помпоном и козырьком, а цирк бродячий
уехал, девочка осталась стоять, голая. Девочка,
если смотреть спереди.

А со спины, когда шла занавеску задернуть
и вдруг замирала в этой полоске лунного света, —
мальчик, лет десяти.

А когда — дернувшись надо мной
в крике немом — руку вскидывала меж моим
и своим лицом — тыльной её стороной к своим
губам, к моим — ладонью, но не касаясь, я
видел это раскрошенное плавящееся стекло
линий её, в пепел перегорающих, в крохкий,
как волосы, все ещё шевелящийся, пятипалый
пепел.

Будто сквозь эту ладонь на меня глядели
все её — сколько? 12? жизнью, женщин, судеб —

с первым младенческим криком каждой
и смертным хрипом одновременно.

И опускала ладонь на губы —
дрожью, как по слогам, читая мое лицо, слепая,
тысячелетняя, распуская тело свое по нити и —
нет ее, нет ей лет.

А он лежит на спине с разведенными руками,
меж которыми только что еще она плыла, как дельфин,
прошивая тьму между двух стихий, и на пальцах его
лишь узор этот ниточный, с пальцев на пальцы
переданный с передергом узора, как в детской игре.
И еще это чувство, что он был не с нею, не только
и даже не столько с ней, как со всей вереницей
стоявших за нею, припавших к губам его через ладонь
ее. И он еще долго перебирает пальцами эти судьбы
ниточные незримые, как глухонемой. А она —
с этой рукой на весу, будто за лодочный бортик
держится, не шевельнется, даже не дышит
во сне, как вода до сотворенья воды.

ФРАГМЕНТ 40.3

Знаешь, с кем я живу?

С големом. Даже не так — без я. Голем —
это и есть мы. Мы с тобой. Созданные моей —
чем? — волей? воображеньем? воем
той пустоты, которую порождает любое тепло
живое — звериное, нежное, ножевое...
Это иллюзия, — говорит, — мы не пара...
— Да, — говорю, — еще бы нам ею быть. Пара-
нормальное мы явление. — Оставь под паром, —
она отворачивает лицо к небу, — своя у меня тропа.
— Черт, — шепчу, — черт, черт, черт,
что ж ты путаешь божий дар и зубные щетки
нашей *dayly-live*, воткнутые в один стакан!
— У меня своя, — говорит и поджимает губы.

Если б он был возможен, ее портрет:
как палимпсест, должно быть,
с нескончаемой чередой ее лиц,
просвечивающих одно сквозь другое,
и каждое — в точности то же самое,
в той точности, что доступна глазу
нашему. А природа чуть прищуривается, отходя
с пальцем у губ. Эти неуловимые — что? —
даже слова не сыщешь — вот уголки губ, кажется,
чуть пониже... Нет, там же. А лицо уже все другое,
имя другое, судьба, всё.

Или глаза:

будь ее воля и не живи она меж людьми —
белыми быть им, девственно-белыми, как две колыбели
мира (левый, как говорила она, от отца, правый
от матери). Белый, в котором рождаются все цвета.
Рождаются и умирают. Будь твоя воля. А у тебя —
светали, как небо, чуть в дымке, голубовато-белесые,
пока не взошло еще солнце, не проступил еще мир
попугайный, не встрепенулся, не растрепал еще

перышек, застывших взгляд (как я любил эту искоса, чуть исподлобья улыбку твою в сторону этой природной цыганщины — шалей на шалых деревьях, тоски с позолотцей, всей этой милой отрады, родной мишуры). Да, светающие, как даль в тот короткий час, когда тишь, как свет, сквозит отовсюду еще/уже, когда мир еще чуть близорук и на ощупь свои черты обретает, как женщина, от пробужденья на полпути к зеркалу.
Широко распахнутые, как у ребенка,
и в далекой голубоватой дымке, как после смерти.

Помнишь, как мы, встречаясь с тобой, не встретились — ни в первый раз, ни во второй, ни в третий, и год за годом вот так проскальзывали не мимо даже, а сквозь друг друга. Необъяснимо. Подумать трезво — необъяснимо. Во тьму со света, прижавшись лбом к окну, так не глядят, как мы глядели, не видя. Так перед слепым лицом рукой проводят, чтоб убедиться. Что ж, убедились. Я помню руку, лица не помню. А ты? И ты, похоже.

ФРАГМЕНТ 40.4

Был дом, возле дома был пруд,
в пруду жили рыбы. Меж прочих — два карпа
в рост человеческий, друг через друга, как бревна, они
перекатывались, на двоих — лет под триста им было:
Тристан и Изольда она называла их, девочка,
им крошившая хлеб в этом свете мучном
под наполненным ситом луны, и они подплывали
и терлись щекой о траву и о голые ноги ее. — Ты ведь
знаешь, у рыб поначалу нет пола, они выбирают —
быть им женщиной или мужчиной, в зависимости
от... — Оборачивается ко мне, чуть прищурясь. — Ты что,
в самом деле не знал? — И вот однажды Изольда
(девочка видит во тьме лишь волну —
будто опухоль на воде, приближающуюся)
выкатывает на берег к ее ногам
Тристана, подталкивая его головой,
мертвого. Он слишком тяжел для девочки,
чтобы нести его на руках, она обнимает его,
прижимая к груди так, что хвост его скользит за ней
по земле, а голова свешена за ее плечо. Голый,
без чешуи, с белыми, чуть расплывшимися
в близорукой улыбке губами и двумя оловянными
пуговицами глаз, болтающихся в такт ходьбе,
как на белую нитку пришитыми... И она несет его,
выбываясь из сил, высоко запрокинув голову
с этой тоненькой шейей, которой губами
я коснуться боюсь... Почему ж, говорю, в лес
ты несла его хоронить? Яму выкопала под луной,
опустила луну в яму и землю присыпала...
Смотрит на меня с удивленьем: «Я?
Ты что-то путаешь». Да, говорю, наверно.

Вынул из рюкзака книгу — «Клеа», четвертая
из квартета Лоренса Даррелла, наугад открыл:
на странице — три стихотворных строчки выделены.
«И женщины, как загнанные лани,

Из зеркала хватают на ходу
Напиток, ей неведомый...»
Кому это *ей*? Все как одна? Или множественное
число подразумевает у них единственное?
Эти стихи из дневника Персуордена, писателя,
жившего (внешне) на манер Генри Миллера,
а обращены (неявно) к его, Персуордена,
сестре — Лайзе, от рожденья слепой. С детства
он видел ее глазами, а она воображеньем его
жила. Ну да ты помнишь. В сторону Озириса
и Изиды жили они, сближаясь. Хотя куда уж
ближе, казалось. Тайная связь их длилась
дольше, чем счастье, а счастье дольше,
чем всё, кроме жизни. Его. Он покончил с собой,
чтоб разжались объятья их душ. Для нее
и Другого — чье приближенье из будущего
он физически чувствовал. И когда этот день
наступил... Да, он знал, что должен будет
освободить ее, высвободить ей пространство
жить, и это казалось ему как божий день
ясно — просто уйти со сцены. И вдруг,
когда этот день пришел, он понял: здесь
есть лишь один выход — в смерть.
А она стояла в этот божий у зеркала
и перебирала чуткими, чуть выгнутыми вверх
кончиками пальцев свое отраженье;
свое, его, и в вогнутой глубине — мертвого
их ребенка. И звук ее голоса был — как нить
натянутая меж дрожащими уголками губ
сомкнутых.

Припекает, я пересел за другой столик.
Другой. Да, Маунтолив его звали. Горец, то есть.
Того — другого. А мы с тобой в Александрии не были.
Хотя собирались... Куда, спросила. В Африку,
я сказал, бы. Как четвероногое *мы*
к четвероногим. Ты улыбнулась, тихо
прикрыла дверь, позвонив уже из Венеции.

У меня карандашик есть, давай съездим
в Александрию; на четных страницах книги,
внизу, под текстом я буду писать по строчке —
что-нибудь вроде стихотворенья, как Персуорден
(как персам орден за того падшего
верблюдоангела), а даррелловские страницы —
как Лайза, будут поверх глядеть затуманенными
глазницами.

Она жила в квартире треугольной,
написал я на первой, то есть на двести сорок
пятой, где «женщины, как загнанные лани...»,
и перевернул на четную, продолжив:
...треугольной,
как Индия. Меж спальней и гостиной
верблюжьей свастики в ушке игольном
вращались с полумесяцем на спинах.
В ушке меж черно-белым светом спальни
и тьмой цветной зажмуренной дневальни.

Двести пятьдесят четвертая. Я подумал
(в ответ на твое «Luna» — иллюзия, мол),
что «зазеркалье», в котором жили они,
эти брат и сестра, и есть тот единственно
истинный мир, где рождаются и умирают.
А эта так называемая реальность —
только зеркало с затуманенными глазницами
(зеркало, пальцы на нем...). Думаю, в этом
зеркале он даже покончить с собой не смог бы,
не то что жить. Разве здесь, по эту сторону,
умирают? Так, изнашиваются. Как туфли.

Двести пятьдесят шестая (там про гомункулов,
которых выращивали в баночках для маслин:
маленькие, величиною с морского конька,
как пишет в своем письме Бальтазару
Да Капо, они плавно подергивались в воде,

и имена у них были: король, королева, рыцарь,
монах, монахиня, рудокоп, строитель,
серафим и, наконец, дух синий и дух красный.
Легкое постукиванье по стеклу, казалось,
их слегка беспокоило. Лица их проступали,
как в проявителе фотоснимки, и затуманивались.
Официант убирает пустой стакан. — Noch etwas? —
Nein, danke. Они во сне...

они во сне как амфоры на дне
вмурованные в ил по горловину
лежали непробудные о дне
не ведая который мял их глину
и в ночь как в печь вдвигал и жег
до утренней звезды и извлекал из печи
и в губы дул в полураскрытый шов
до проступившей измороси речи
которая цепочкой пузырьков
кривясь и восходя дрожащей нитью
со дна все отклонялась по наитью
и отклоняла нисходящий кров
и свет сквозь занавески льнущий
к мерцающим садам висящих рыб
и круг плывущий по волнам как нимб
и в оспинах кофейной гущи
узор стены хранящий немоту
и жилку бьющуюся в небе
и пальцев обожженных на лету
незрячий мотыльковый лепет

А теперь пропустим щепоть страниц
наугад. И напишем вот что:

Меж ними жизнь, над ними ложь и нежность,
друг к другу прикипевшие губами.
Тать я, тать ты. Так чувства, спешась,
ведут на поводу судьбу углами.
Звезда горит. И нет земли под ними.

Помнишь, пока я спал (ты всегда вставала
чуть раньше птиц, затемно, и исчезала),
ты оставила мне записку, я нашел ее в туфле
левой — маленький, свернутый в трубочку
клочок бумаги: «Никогда, даже в снах моих
тебя не было. Нет, ты был. Это я,
видимо, не спала. А теперь —
как странно...» Рваненькие края, впритык
буквы. Как давно это было — до нашей эры.
Давай назовем это как-нибудь. Например:
Не вошедшие в Сад. По-английски лучше
звучит: The Garden was not entered. Лучше, да?
И пойдём отсюда.

ФРАГМЕНТ 40.5

Каждая наша близость... Господи, ну и слово —
ушки стелятся, склизкая мордочка между лап: блиизость...
Знаешь, это так в стороне от того, что обычно
происходит между мужчиной и женщиной, что —
будто маленький ангел внутри говорит: «не смотри туда»,
и крылом лицо свое прикрывает. И не смотрю я. Пытаюсь,
по крайней мере. Ты помнишь, в квартире твоей,
выбеленной, как, наверное, только бог изнутри
выбелен, и книги на белых полках за белою
занавеской вдоль стены — от пола до бедер
твоих, белых уже, освобожденных от, и я беру тебя,
как берут текучее зеркало, держа на весу, над собою чуть,
и вжимаю тебя в себя, как нож в живот, нож двуручный;
дрожашие рукояти запястий твоих, заведенных за спину.
И ноги твои, оплетая меня, тонут вдаль — белые в белом,
и кажется, годы по кругу идут, побелевшими шеверя
губами, крошась, как мел, и книги выпархивают из полок,
кружа над полом, вскинутым, как парусок, и ты
бьешься своей мотыльковой о стену белую
головой, только взвихренный рой
перламутра в тебе, только беглый трепет
в тебе кроится еще, и ты — без губ уже,
белым беззвучным голосом: *Да!* — кричишь.
Дай! — мне слышится. *Die! Die! Die!..*
Будто молишь: *умри! умри!..*

Мотыльки
на дне твоего плафона матового — как сухой
мусорок лежат. На спине, на боку..

ФРАГМЕНТ 40.6

Знаешь,
кажется, с каждой буквой нашей с тобой разлуки...
Да, Мария, до завтра, спасибо тебе, чудесный
день... Нашей с тобой излуки... Нашей с тобой, такая
щель, щель, трещина неприкаянная ползет по городу
перед каждым шагом моим, за каждым углом, то
запекаясь ртом выгнутым, то расходясь в улыбке
тоненькой неживой, втягивающей, как нитку, песок
этих букв. Нашей с тобой... В этом городе, где живем,
живем, живем... как зарытые в землю — живьем.
В землю — я; ты, наверно, — в луну: пелена
на глазах такая. Жить, дышать одним воздухом, в тех же
переулках бродить, где и ты, и не видеть тебя, не быть.
Это, знаешь, как будто кисть руки, этой, пишущей, — все,
что осталось от нас двоих. Кисть, собранная в щепоть,
будто птица больная, клювом в землю, и по земле
ее ветер волочит, оставляя за ней эту запись
колких пляшущих букв. И пока это длится — я
жив, то есть ты, то есть эта рука. Что просить у нее?
Та мадонна в киоте — муляж. Богоматерь —
во тьме подземелья стоит. За семью. Но —
так странно: тебя задевало, что я не ревную
тебя. Но — к кому? А точнее — к чему? К обиходу?
Как небо к земле — не ревную. Пою,
то есть вою, губами кругля эту в небе дыру.
Будто камешек по воде — эти дырочки флейты
от небес до земли, сверху вниз ускользавшей тебя,
и бегущие пальцы — мои, им вослед — этим всплескам
твоим затихающим, стихшим.

Когда-то,
в самом маленьком детстве, в простоволосом
веснушчатом пригороде у меня тоже был пруд,
а посреди него — недосыгаемый сказочный остров.
А потом, лет через двадцать, я вновь оказался

на том берегу, шагнул, раздвинув кусты, к воде — и, прежде чем я увидел его, из-под ног лягушка выпрыгнула и, перелетев на этот недосягаемый остров, шлепнулась, пучась и отдуваясь. Знаешь, может быть, через тыщи лет, если нам сюда суждено вернуться, наша прошлая жизнь и мы в ней, *так* вот, вдруг, раздвигая кусты памяти, передернется и ужметя в этот куцый прыжок крапчатой чудотворницы.

ФРАГМЕНТ 41

Спит. Глаз подрагивает. Ему кажется, что он управляет сном. Что плывет в нем, как в полузатопленном лабиринте. Всплывает, озирается по сторонам, в даль вглядывается и, погружаясь, плывет в выбранном направлении.

Она стоит на другом краю города, у распахнутого окна, смотрит в ночь, в снег падающий, бледно озарена, будто струясь вверх. Легкая, кажется, легче воздуха. Воздуха, по крайней мере того, которым дышит. Дышит, губы ее подрагивают от слов. Губы. Как у белого клоуна за кулисой, спиной к стене. И не прочесть по ним, искаженным нежностью, этой странной дрожью, пробегающей между ними, меж холодом и теплом, этой врожденной незарастающей дрожью.

«Lass mich, bitte, lass mich, — говорит она на родном в этот проем окна, в ночь. — Let me go, please, let me, — переходит она на английский, на котором с ним... — Отпусти меня, — шепчет по-русски, почти без акцента, — иди, иди... go, get free of me! Our souls remember too well the garden between them, which they were unable to enter, our bodies remember too well the miracles in this garden, where they met... No way. I disappear. And it would happen again and again. Heaven knows, why. It is stronger than me... Inside...»

И если смотреть сквозь снег на ладонь ее, на ее вращенье чуть впереди лица ее белого, чуть темнее, чем снег, как бы плывущего вверх, отчего кажется, что снег падает чуть быстрее, на волосы ее цвета весеннего света, жиденько-желтого на снегу, если всмотреться в эти распахнутые, помаргивающие, уводящие в даль безлюдья глаза, кажется, задуманные искренне-голубыми, с искоркой, и этот замысел все еще брезжит сквозь их горьковатую дымку, если бы можно было приблизить взгляд, даже не слыша, что она шепчет, вода ладонью в проеме перед собой... Да, как заклятье, как искаженное нежностью, против воли ее заклятье, больше похожее на мольбу.

Он вздрагивает во сне, он говорит — вниз, в подушку, перекидывая на ней голову со щеки на щеку, будто лицо о нее вытирает. «Ты, — говорит он сквозь зубы, — ты... Храни тебя — кто? Твой маленький бог с глазами тальми... С его одинокими крыльями... Подметая ими... Как осень. С оборванными. Облетевшими. Белыми. Зачем ты их обрываешь? Как лепестки, гадая... На ком? На ком... снежный. На боге...»

И так же вдруг умолкает, на долгом вдохе погружаясь и открывая глаза в яркой песочной комнате.

Золотой песок, струящийся в виде стен. Змеи. Похоже, пять. Похоже, потому что видны лишь кольца, точней, полукольца, выгнутые над песком и в песок уходящие, прощуривая его, как радуги. Замерли. Нет, чуть скользят. Ни хвостов, ни голов не видно — в песок занурены. Может, как раз под его ногами — босыми. Яркий пиктографический орнамент на коже. Чуть плывет. Что называется, открытый цвет. Эти, прошивающие песок, затаившиеся, — смертельны. А одна — вся на поверхности — дежурит, вьется медленной веревкой, искоса приглядываясь к нему, приподняв голову, сестра их, без яда. Тот же окрас, но тоненькая, толщиной с палец, а эти — с ногу, смертью накачаные до звона.

Ему кажется, он им владеет, сном. Он погружается внутрь себя, внутрь своего оцепенелого тела, но — осторожно, краем глаза следя за этой медленной веревкой, за ним следящей.

«Зачем? Зачем? — постанывает он в подушку. — Это не та, не та...»

«Get free, get free, — шепчет она, — let me go...» — дрожит у окна, шалью укутав голову, а уголки шали в кулачках держит, прижатых к горлу. И голова чуть набок, к плечу, и губы чуть приоткрыты.

Совсем по-русски, — он вздрагивает, — до щечи.

До щечи этих тугеньких грудок ее, примятых локтями, все еще молодых, все еще вверх глядящих, как и глаза ее — чуть снизу вверх, в близоруком порыве и в этой тщете его

безысходной... Чуть примятые локтями, зажмуренные, слепые, не помнящие родства.

«Зачем, зачем...» — постанывая, он выскальзывает, как из кожи, из этой полости и всплывает в сумеречном пространстве, на голом, чуть покатою краю земли.

Свет вечерний горчичный. Море вдали, внизу. Мыс, утес. Перед въездом на мыс — двуколка. На козлах — царь, держит вожжи. Ни лица, ни одежд не видно. Некто рядом сидит, тоже неразличим. Советник, что ли? Он стоит чуть впереди лошадей, от царя справа. Неясно, ехал ли он на подводе вместе с ними или шел всю дорогу чуть впереди. Ясно, что их трое. Ясно, что царь не из времени. Яснее сказать пока трудно. Лубочное таро. Но это лишь маска, а под ней — трудно сказать. Царь говорит ему, указывая рукой на скит — темно-охристый, чуть светлее земли, на которой стоит на краю мыса над морем: «Вот. Пойдешь?» Он головой кивает, поворачивается идти. «Стой, — говорит царь ему в спину, — куда?» — и смеется недобро. И сквозь этот потрескивающий, как дрова в огне, смех: «Это ж...» — не слышно, ветер отнес слова. Но он-то слышал, понял. Стоит, колеблется, двусмысленное положение. Может, он сказал: «...иноверцы»? Нет, что толку гадать. Он колеблется. Вертится на ребре монетка. Орел? Решка? И так и этак — проигрыш. Хитер царь. Но ответ ведь есть. Где ж он? Колеблется.

Видимо, проходит немало времени, иначе как объяснить ее появление: от скита до них около километра, а она уже здесь, стоит рядом с ним, в трех шагах. Или у нее какой-то иной способ передвиженья? Он и видит ее, и не видит. Женщина. В монашеском облачении. Еще миг назад — в монашеском. Но этот миг, пока облачение ее струится к ногам, а она стоит неподвижно вполоборота к нему, кажется бесконечным. Свет от голого тела ее тмится, как над утренним озером, чуть в тумане. Женщина. Эрос молчит, палец к губам прижав — точно посередине в ней между девочкою и матерью. Как мужчина он пока не видит ее,

не чувствует. Она пока для него — как природа, река, свет. Пока — ничего личного. Но в то же время он чувствует, что это судьба сейчас метит его углы. И миг этот длится, как затяжной прыжок, ни земли под ногами, ни купола над головой, и скорость происходящего близится к световой, то есть, кажется, время вот-вот исчезнет. Он стоит в трех шагах от нее, голый, вполборота к ней, впол — к царю, по сути, обоих не видя. Одежда его лежит у ног, это как-то само собой разумелось, он лишь чуть ей помог — пуговицы, замок, не глядя. Все молчат, ждут. Царь ждет, смотрит. Свет тмится, колобродит в ней, как по лекалу, ждет. Он говорит: «Чудо». Имея в виду: она красивая, в смысле — чудо. Царь ждет. Он уже открывает рот, чтобы сказать: «Благослови нас!», и замирает, думая о двусмысленности этих слов, обращенных к царю, первенцу.

Нет — ни земли, ни подводы... Ничего нет, потолок во тьме перед глазами полуоткрытыми — чуть плывет. Прикрывает глаза.

Глаза. Прямо у глаз — как сквозь легкую патину — лицо женщины, склоненной над ним, темноволосой, другой. Она вглядывается в незрячие, сном затуманенные щели его глаз, совсем близко, касаясь ресницами, вглядывается в глазное дно, как в разводы кофейной гущи на дне, читая... и медленно отдаляется, подрагивая губами, слова подбирая, перебирая беззвучно...

Его будит телефонный звонок. Ошиблись номером.

Мутный день. Не туман, а стоит отрешенно, будто воздух внутри него вымер. День стоит и не дышит, а он в нем сидит — где-то в пальце его ноги, безмянном, левой, как ему кажется, во внутреннем дворике, пьет кофе. Улица поблескивает вдали. Как ноготь, думает он, растет.

Странно, что же она хотела сказать? Хотела ль? Сказала б? Этот последний совсем заслонил для него тот, со скитом на мысе. Пьет, повторяя губами произвольно ее движенья.

Да, вспоминает он, вчера, засыпая, я думал — и тот, со скитом, исподволь проступает, — я думал, да нет, бредил,

скользя, как по осыпи, в сон. О сне. О том, что вот бы туда перейти — жить, быть, женщину встретить — там, там любить ее, в небе паря, в огне не горя, время на поводке, как пса, выгуливать, дом построить — там, сына родить, дочь. А сюда — как в сон возвращаться, как в краткий сон — часов на пять, шесть. А может, со временем и не нужно будет. Такой, что ли, Муромец наоборот, на вторую часть жизни. Ведь если спросить себя, что называется, в лоб: а не может ли так оказаться, что мы за деревьями леса не видели, что *истинная* наша жизнь происходит там, в лесу сна, а здесь, по эту сторону, — лишь подлесок? Есть ли у нас достаточные основания, чтобы сказать: нет, не может. Нет, у меня нет. Да, рождаемся и умираем мы *по эту сторону*. По эту? Не факт. То есть для нас — да. Для нас, глядящих отсюда. А смени угол зрения, перемести его в лес, например, сна: иная перспектива...

Так он думал, скользя...

Он послал ей записку: сегодня в три будет ждать ее в «Тамбоси» — том кафе, где они впервые... В три. Через тридцать три жизни она придет, когда ни «Тамбоси» не будет уже, ни земли.

Тридцать три. На деревьях она сидела эти дни, собирала оливы «on the trees». Греесе, ему чудится. В Греции, что ли, она сидела? On tears? На слезах? Голоса ему чудятся, как ветерок волосы перебирает. На деревьях, значит, сидела. Одна. В небе. Собирала оливы. В банку. Цвета неба над нею — пустого. А потом оно наполнялось сумерками, как банка оливами. А потом она засыпала, как косточка, в этой оливе ночи. А кукла в небе между ветвей все висела, покачиваясь, прижимая к груди банку. А наутро она приставляла лесенку к следующему дереву, и так все дальше, в сторону моря... А теперь?

А теперь, говорит он ее голосом, на слух говорит, не разжимая губ, теперь я здесь, только приехала, вот сижу — в своей комнате, как в дыре черной. В черной сидит, на полу, как белый лотос, и глаза прикрыла. И будет сидеть до тех

пор, пока эта черная не станет белой, а она — на полу — черным. Медитируя, просветляя черное белым, белое примирая с черным. Серое, как ни клади штукатурку — набрызгом ли, с затирочкой... Тридцать три — минуты четвертого. Он расплывается, выходит. Темнеет уже, огни.

Лицом в подушку, угол губ и веко — подергивается. «Нет, не этот, не это, — шепчет он, морщась, — нет». Как рыба, то всплывая к этой пленке, светящейся над головой, полупрозрачной, то во тьму погружаясь, плывя колеблющимися коридорами между снами, выворачиваясь, выскальзывая из рук — не тех, не тех... Ему кажется — дело техники, ему кажется, он уже близок, вот, поворот, вот: царь.

Маленькая фигурка, пешая, со спины. За ним — кавалькада. Похоже, нагорье, невысокое, за ним довольно крутой спуск к реке, городу. Они у края, спускаются. Он идет следом за ними. Царь уже у реки, внизу, оборачивается. «Ну — дальше?» — как бы спрашивает его, вскидывая голову. Роли, похоже, переменились. Он указывает царю рукой: «Там». К церкви подходит царь, на крыльце — монах, говорят недолго. Царь отходит, поднимает лицо к нему, стоящему на горе: «Да?» — «Нет», — покачивает он головой. Царь возвращается. Идут всю ночь: царь, кавалькада, за ней — он, замыкая, вглядываясь во тьму по сторонам — этот поворот? Нет, нет... Вот он! Запоминает, продолжая идти. Светает, город вдали, над ним — зарево.

Входят: сгорел город, зола одна, как сухая листва, перешептывается, лисьи ушки огня прядают, пробегая — там, там...

Он украдкой выходит из города; не до него сейчас — им, там. Этот горчичный свет постепенно настаивается, и уже с каждым шагом становится ближе к тому, тогда. Вот он, уже показался вдали — мыс, скит, дверь. Стучит. Не заперта. Входит: тишь, полумрак, никого.

Он просыпается со стоном, пальцем не может пошевелить, кажется, там, где было его тело, — земля разошлась и

сомкнулась, он чувствует — еще перед тем как открыть глаза — под ним не его кровать, и воздух не тот — с моря. Смотрит, медленно обводя взглядом часовню, тишь, ни души, луч стоит, утоньшаясь от пола к окну под крышей.

Вышел; тот же горчичный свет, чуть светлей, золотистой над морем. Деревце — одно — покачнувшееся над обрывом. Меленькое, пугливое серебро листвы. Ближе подходит, щурится против света: там что-то висит в листве, покручиваясь по часовой... Кукла. Синее платье, голая голова, рука подвязана к ветке. Море внизу. Такое же синее, голое, с серебром. Но тогда это небо горчичное, с золотом — не отсюда. Или море — не от этого неба.

Он садится на камень, хочет закрыть глаза. Не закрываются. Будто век нет. *И не будет* — чудится голос перешептывающейся листвы. «И не будет, — повторяет он, глядя в свои ладони как не в свои. — Там спать, — шепчет он, — значит быть здесь, во сне. Спать здесь — значит быть там неспящим. Что-то случилось. Там. Пока я здесь... спал. Что? Как сон. Выскользнул. И не вспомнить».

Он стоит на краю обрыва, глядя во тьму открытыми, не моргая...

Я открываю глаза: белым-бело в ее комнате, даже во тьме белым-бело. Но прежде: близь ее тела — рядом. Спиной. Чуть подогнув ноги. Спит еще. Одной рукой держит мою ладонь, другая — подрагивает за ее головой, будто машет кому-то вслед, или сама от него отдаваясь. От него. Стояла вчера у окна. Не подойди к ней. Будто и нет ее. Как хрусталь. Это платье на ней. А внутри — ночь. На просвет. Или талый лед в полынье. И рука в проеме. Нет ее, не подойти. Ждал. Лежа, в потолок глядя, под кучевым ее одеялом. Я и не слышал, когда легла. Спал. Станный сон. А ему, что снилось ему в ее постели? Тому, кто сейчас — где? На краю, на мысе? Что ему снилось в ее постели — тот, кто был до него? На краю. Странно, ни ревности нет к нему, ни приязни. Мы все — по ту сторону от нее. В какой бы стороне каждый из нас ни был, от нее — по ту. Окно она

так и не закрыла, снег намело. Набело она пишет, всю жизнь набело. И чернила бесцветные, проступают потом. Потом, по ту сторону. Где нас нет. Странно, обычно она встает чуть свет, бесшумней воздуха. Такое чувство от этого сна, будто я спал не здесь, не с ней, не в ее постели. Будто я был — там, с ним. Да, едва ли не им. Едва ли. Особенно там, на мысе. Я ведь глаза открыл и видел ее, спящую рядом, спиной ко мне, и рукой подвернутой под себя держит мою ладонь — то сожмет, то отпустит, и шепчет туда, во тьму: go, go!.. Это с ним она по-английски всегда. А я смотрю на нее и — одновременно — его вижу. Его, голого, — там, у двуколки. И ту женщину, светом запахнутую, тмящуюся рядом с ним. То есть вроде как и не открывал глаз. Чувство такое, будто внутри тебя, внутри всего тебя — птица, мокрая, сломанная, с заволоченными глазами, передергивается, и ни взлететь, ни умереть не может. Странно, что тихо так, что она еще спит.

ФРАГМЕНТ 42

Трое в комнате, — говорят глаза.
Слух говорит другое.
Третье
говорят пальцы, скользящие по простыне,
на которой двое — он и она,
разметанная на шесть сторон света.
Луна
сощурена меж занавесок.

Он смотрит вдоль ее живота —
туда, где голова, как кажется ему,
Шопена,
лицом утопленная в ладони
ее межножья.
Никогда
она волосы там не стригла.
В никогда
он смотрит.

Его щетина
покалывает чуть живот ей.
Его затылок
их чувствует — маленьких два холма
и мель ребристую, и лен простынки.

Два маленьких, забытых Богом. Да,
двугорбы, шепчет, женщины,
и поперек груди
плывут.

«What? — еле слышно спрашивает. —
Was?»

Как странно, думает, не отвечая ей,
как странно — в слепь языка ее и жить, и говорить,

и речь так тянется, так припадает к ней,
как будто у нее, у речи, никого
и не осталось
в отечестве.
Как странно.

Ее факультативный русский —
ребенок русский, худенький, слепой.
Молчит. Бог весть, насколько понимает.
Не больше,
чем он ее немецкий, итальянский,
французский, греческий...
Что кошек в доме — в ней языков,
египет кошек.

«Я, Озирис, —
бредил, бредя по царству мертвых, душу
свою ища и повторяя: — Я, *душа*, Озирис...» —

«What are you whispering?» — Она кладет ладонь
ему на губы, легкую, как лист осенний терпкий,
ладонь.

«Нет, Nichts, —
он шепчет в щелочки меж пальцев, —
nichts, nichts, nichts», —
передвигая на глаза ладонь ее
и глядя, как, раздвинув занавески, входит —
стройна и светлоока —
нефть.

Покачиваясь, входит,
берет ее за руку и ведет
по кругу за собой спиной вперед.
А эта — следом
к ней тянется и льнет, и семенит ступнями,
и мелом тоненьким за ней крошится.

Трое.
Слух слышит: *троя*.
Ад лица
откроют пальцы:
не ее — другого.

Когда б не этот теплый детский шрамик
незаживающего рта...
Странно,
что всех их так заволакивает, когда
пальцем водишь у них во рту..
Сторона,
ко всему безучастная, называется: *ноприэтом*.

А на стене, в изголовье, — пара крыльев
ангельских, лебединых, муляж.
И латунная шейка бра с тлеющим клювом,
режим экономии.
И простынка в летучих царапинах —
как экран с оборвавшимся фильмом.

Странно,
будто я пишу тебе на тот полусвет.
Деревце
сжало пальцы свои под землей в пясть
и пишет.
Деревце,
южный какой-нибудь автотроф
семейства тутовых, беспочвенных,
пришел в тундру, врос
в карликовую березку,
пишет.

А потом, когда ее уже нет, читает ей,
на полу сидя, в той самой комнате,
а она на кушетке на кулачках лежит,
исподлобья глядя в оконный морок.

Он читает ей их историю.
Персонаж персонажу.
То есть четверо их:
два фантома и этих двое —
на словах.

Он доходит до леса, до места,
где змея ее жалит в ладонь.
Эта сцена-виденье лоскутна и крупнозерниста,
как смерть, чье лицо никогда целиком не открыто;
блик, щека, угол губ...

Взгляд от книги он к ней поднимает:
как та, перевернута на спину, и,
как та, с кулачком на губах,
и незряче распахнуты...

Двое их в царстве мертвых, два эха. Читает
он. Она слушает, русский ребенок в ней слушает,
но понимает не все далеко.

Она ближе, все ближе,
ей больно лежать вверх лицом,
где все так далеко.

Она встанет, шагнет, как во сне, покачнется
и ткнется в него, как в стекло,
оплывая,
его за собой размывая,
трясь в этой топи
рассыпанных на пол страниц.

То есть шестеро: двое читают двоих,
и меж ними —
еще эти двое, спеленатых дрожью.
Не те и не эти.
А как замыканье меж ними.

И даже короче,
чем *меж*.

Не три.
Проморгается свет и стечет,
и пустынная комната
воровато войдет в очертанья.

Не войдет.
«Как ты сказал? — Она натягивает штаны —
х/б, топленое молоко, походные. —
Скорость света —
это вопрос синтаксиса ассоциаций, да? —
завязывает тесемки. —
Ты — глаз, ты смугл и худ, и светишься, как глаз. —
И шлейки перекидывает накрест, свитер грубый,
под ним два холмика тугих едва заметны. — Как
ты сказал? Природа ангелов и, — улынулась искоса, —
метафор — едина? — Присела, горные ботинки
шнурует. — И, распрямляясь вдруг: — Не продохнуть,
ни лечь, ни встать, — обводит комнату глазами, —
ни жить! И каждый новый твой читатель —
здесь будет, здесь, — и тычет пальцем
в стены, в пол, в кровать», — идет на кухню,
заваривает термос, медлит, вернулась в шарфе,
шапочке оранжевой, дрожит.

Он водит
магнитом по исподу поля, передвигая куклу
по краю, на весу, игра такая.
«Вот, вот», —
она, как нитку закусив, следит за ним.
И здесь? —
он водит мысленно магнитом
под пятками ее. Стоит недвижно,
лишь головой покачивая. Кукла
скользит по краю.

В Альпах она,
щурясь от снега, солнца в растирочку,
неразличима уж — на карандашной тропе в лазурь.
Он входит в метро, садится, следующая — Люблино.

Она насвистывает. Он, проезжая по буквам станцию,
думает об этом слове, о странной его грамматике.
Оно ли кого любило, его ль? Не влюблено, не вылюблено.

Она любит панорамой. «Блин, —
говорит он, — комом в нем». Косится на него
школьница: «Вы находите?»

Она на краю садится
пропасти. Лотос, глаза прикрыты, спина прямая.
«Один», — говорит, просовывая в окошко. Будний
день, никого в зоопарке, крупа с подвывом.

Да, говорит, как выданный зуб, как десна
кровоточащая, этот город смеркается, холодит
на вдохе.

Она открывает глаза, медленно выдыхает,
отвинчивает крышку термоса, пьет какао
маленькими глотками, глядя вверх ободка
чашки на уходящее, цвета шарфа ее и шапки,
солнце; будто это они, разматываясь, ускользают.
Меленькими, как кошка, пьет.

Два-три бомжа на весь зоо, вот и весь люд.
Рысенок играет с ветром кульком целлофановым. Белый
сугроб обнял колесо тракторное, как подушку, глазки
красные в пелену глядят, где такие ж, как он, сугробы,
без колес. Квартиру
она сменила.
Тигр, альбинос, наматывает круги
по небу — след в след.

Она спускается в деревушку,
остывающую, как зола. Он сидит у окна. И она
у окна садится. Между ними стекло. Лбом ко лбу,
как со света во тьму, они смотрят
и не видят друг друга.

ФРАГМЕНТ 42.1

Нет в живых тех, кто любил, — помнишь, он написал?
Тот, кто все еще жив.
Тот, с вырванным слухом, сломанным голосом.
В белой рубахе живет, с белым выстрелом позвоночника — ввысь, навывлет — от отца, лыжника, снайпера.
Белый огонь пьет, с мертвыми говорит, не с кем больше.
Белые ночи — нечесанные — носит на голове.
Нет в живых тех, — говорит. Помнишь? Я — нет.
Но и не сказать: живы.
Ты, впрочем.

Ты — та, которая — где?
На краю света, на колкой его меже? От себя на краю?
Или та, в благопристойной коме жизни размеренной, на быке, в Европе?
Или та, что сейчас лежит, сверстанная, на верхней полке какой-то пригородной типографии — Новгорода, Самары ли, с моих слов.
Или та, которой я говорю в никуда: здравствуй.
Десять камешков в этом слове бегут с горы, будто птичьим трехперстьем на взлете был сдвинут первый и втянул остальных, струйкой осыпи дребезжа до карниза, и стихло.
Семь хрипяще мычащих сквозь зубы, две гласных — а, у, и с обрыва летящее краткое — в никуда.

Я развел между нами время, как огонь разводят.
И гляжу в него, не открывая глаз, в этом городе без нас, то есть без тебя, в этом городе Мо-ва, то есть речь, Schprache — на твоём языке, в теплом прахе ее, за десять тысяч непереводимых верст и еще одну — от тебя, живущей в немь-городе, в нем. Монахове, буквой ю в нём, умляутом со змеиным укусом двоеточья над и — тем, летящим с обрыва.
Я живу на окраине Мовы, жилье — семь на пять, чуть просторней, чем у пса у ворот в родовом твоём замке. Разве что из окна вид кудрявый, цветной, на альпийские

дали — у него, а моя даль обглодана и мутна; от земли до небес только кости светятся, как дома.

Ты, наверно, сейчас в тех своих парусиновых белых легких с веревочным пояском на талии, на которую ты глядела вниз с хитровато-детским таким прищуром, мол, нет ее, что ж тебя так привлекает там?

Или тут? — подводила снизу к груди ладони. — Маленькие, как нет, — улыбалась чуть виновато, в сторону. — Как хомячки, уткнувшиеся в ладони, — шепотом, еле слышно, на чистом своем английском, разве что снов не видела на котором.

То есть бессонном, на котором спала со мной, то есть с моим русским, переходя на него, как я на родной твой — прямо, но чаще через этого третьего между нами — переводчика, шептавшего на ухо: *tenderness, sadness, oblivion...*

Странно, что ты не знала этого слова — забвение. С него-то как раз, я думал, ты и начинала учить... Да, третьего. Будто третья рука — там, где мы, под простынькой, вилелась.

И какой ни возьми — третий.

И отсюда еще, наверно, это чувство не то чтоб вины, стыда, но какой-то мучительной непрогляди, как очнуться наутро в скользящих лоскутьях сна; что там было с тобой, с нами, кто и, главное, что он так долго, так непроглядно нежно и мучительно с нами делал?

Помнишь, «стрелы точно подходят к ранам...»? Как и раны, впрочем.

И держат их, как градусники в губах.

Да, возможно, в тех ты сейчас парусиновых своих шальварах, которые я так ревниво... И когда на ветру они перехватывали дыхание, по всей длине твоих ног перехватывая, и когда вдруг стихали, чуть поморщиваясь, лепеча, как во сне, и когда — белым обмороком вниз текли, тая — так легко...

И свитерок легкий такой — сосновый выгоревший лесок, и солнце за ним садится легкое, акварельное, то есть в тихой дымке такой свитерок меж теплом и вечерней уже прохладой, такого кроя, такого цвета.

Да, — кивнула ты, — в том же смысле это слово есть и в немецком: альтвайберзоммер, бабье лето, — и добавила, шагов через сто: — Было.

Да, такой свитерок на голое, и такие штаны, и тело легкое — как парусок плыло, чуть под углом к волне, и вдаль всегда, и не глядя под ноги, чуть под углом — от берега, но и если к берегу — под скользящим к нему углом.

Ты, возможно, едешь сейчас навестить отца с матерью (три квартала на велике до у-бана, пересадка на Одеонс).

Вы сидите за длинным столом, при неярких свечах и негромкой беседе, оставляя в ней чуткие пятна умолчаний, сродни трепетанью этих отсветов — на лице, на стене за спиной (ты их видишь на белой, за мамой, стене, а она — на темнеющем голом окне, за тобой).

Ход часов, два бокала вина, три свечи, две рембрандтовской кистью прописанных женщины, как одна сквозь другую; вдали друг от друга сидят, не касаясь лопатками спинки высоких стульев... ничего не касаясь, ни боли, ни тайн, полутьма разговора, мерцанье, полузримая зыбь на весу.

Скрип шагов, спускающихся по рассокающейся винтовой лестнице, голубовато-белесые глаза, маленькая улыбка в рыжей хижине бороды, третий бокал, отец, рука на книге, положенной на край стола...

А я стою в Мове, моюсь.

Нет, просто стою под душем. Стою, смотрю, как вода пеленает тело, и сплывает прозрачной кожей с кожи, и заворачивается в воронку.

Тело мальчика все еще, но которого (из-под двери тянет, прикрыть бы) уже обнюхивает холодок небытия.

Вода свивается с тела, заплетаясь в ногах и расхристанываясь, став отчасти уже телесной.

Тело вытерто и отнесено на вокзал.

А потом вы снова с мамой одни в комнате, и ты сбрасываешь свои парусиновые и свитерок, и она фотографирует тебя с сильной подсветкой на фоне стены — белую на белой. Нет?

Может, и нет.

Может, ты в Альпы ушла, сидишь на уступе, вдаль смотришь на заходящее солнце, третий день уж сидишь в позе лотоса, а оно все висит на ресницах, дрожит.

До Вологды, а потом автобусом до Ферапонтово — часа три по бетонке.

Мокрая, жалобная земля. Утлое низкое небо. Под ним — мхи. И висит оно над мхами, вылинявшее, одутловатое, пододеяльное, как с веревок не сняли. А под ним, путаясь в нем, едет маленький насекомый автобус. Или это метка для прачечной?

Тело сидит лбом к стеклу, смотрит.

Или ты собираешь листья в лесу, осенние? Как свои ладошки. Вглядываешься, поднося к лицу. В этот лиственный жар хиромантии. В эту лесную венецию. В этот деревянный дом престарелых.

Тихо так, под ногой твоей и ветка не хрустнет, так ты легка. Одна там, до ночи, кустик огня в руке.

Хотя — какой гербарий, весна на дворе, май месяц.

А избы лежат, как сапогом вмятые в землю, полуживые. По одной лежат.

Одна, у дороги, как черная скорлупа, поляя, скомканная, муть сосет, мхом давится. А другая — на полпути от нее к горизонту, нет которого, как и пути меж ними.

Мхом набрякшее небо плывет по синеющей мути земли. День за днем, по лекалу.

Откидывается в кресле, прикрывает глаза. На сетчатке еще подрагивают те огарки берез, чурочки без веток, стоящие в слезливой жиже, чуть в стороне от дороги...

Или это люди были?

Люди. Два, например, человека.

Тут надо выпутаться из ума, пальцем выйти из этого морока к воздуху — *вот* и *вот*, как ребенок. А иначе не выбраться.

Да и так не выберешься. А как жить с этим? Не обживешь. Потому что это... как что?

Как если бы два осколка из разных миров вдруг сошлись, и всем рисунком своих выпуклостей, впадин, линий совпали — точь-в-точь. Что это — совпадение? Чудо?

Но при этом такая разность... во всем, такое сильное отторжение друг друга... едва ли не большее, чем притяжение. Что это — несовместимость?

И ни умом не понять, и на вере не держится, и не разъять, и не слиться.

Плоть срastается с плотью, а души отшатываются по обе стороны, и растаскивают их тела, и расцепить не могут.

Это... как что? Как если б ходить вверх головой и вниз одновременно?

И кажется ведь — еще чуть-чуть — и свет срastется, только б эту соринку из глаза вынуть... Дьявольскую соринку из глаза Бога. Сосудик лопнувший.

На белом белое. Как гипс, прихватывается ладонь, плечо, ужимка, веки полуприкрытых...

Мать пинцетом полощет фотоснимок. Свет лессировочный. И тьма красна.

Мать дочь разглядывает: белое на белом. Как будто та — в стене наполовину. Как будто в этом месте стена вздохнула, приняв очертанья тела. Безотчетно. Слабость. Минутная. Стены. Сейчас пройдет, минует.

Мать смотрит в этот белый омут, как дочь, прикрыв глаза и отвернувшись.

Лица, похоже, сродни местности, где прорастают.

Эти вот из Кинешмы, Петрозаводска... Ничего не растет на лице. Ни нос, ни губы. Да и лицо не выросло.

Накрапывает. Стоит на пустынной развилке — единственной здесь достопримечательности. Щемящая бескрайность. «Небо, — говорит, подымая к нему голову, — небо... с низким уровнем психики. Хорошо хоть земля под ногами». Идет по ней, по этой рыбьей соскобленной чешуе. Там, в мерцающем далеке, слившейся с небом.

Рыба она, по знаку. Но нет рыбы, чешуя одна.

Чешуя танцует. На хвосте вьется. Не сходя с места. Сойти — утратить.

Не сходит.

Нисходит. К себе. Ближней.

И уворачивается от всего, что восходит.

Все, что восходит, — смертно.

Уворачивается, не сходя с места. Игрунья.

Мать игуменья. В Китеже, под водой.

Норы в воде от рыб. В черной. Для рук фотографа.

Рыба-молитва и дыба-рыба, две норы. И руки две.

И черная пленка воды, перекрученная, засвеченная.

И снег над озером вьется тесемками, как корсет расшнуровывает — ночи белой.

И ветер играет на пуповиной обвитой мертворожденной, как на валторне.

Красные чешуйки огней под ним.

Вначале, пока глаза не обвыклись, это было как в лоне ее, Богородицы.

Сумрачный жиденький свет моросит откуда-то сверху, расплываясь по стенам блекло-цветными лоскутными пятнами, слегка красноватыми. Будто не свет, а пигмент моросит в эти маленькие окошки под куполом.

А потом — будто стены смягчаются, становясь трикотажными, что ли, фланелевыми, теплеют эти цвета лоскутные.

А потом — помнишь, эти цветные ленточки-тряпочки, обереги, которые подвязывают к веткам деревьев, и, особенно, в Индии, когда уж ни веток не видно, ни дерева... такое вот ощущение, будто стоишь в этом дереве, внутри него, и листва его окутывает тебя, чуть колеблясь, окукливает со всех сторон.

А потом — будто весь этот парашютный космос как бы вздымается над тобой на вдохе, и вдох этот — твой, и весь этот космос — ты.

Ты, оставленный далеко внизу с запрокинутой вверх головой.

Вот если б не человеком она была, тогда б все сходилось.

Призраком, например, наваждением, вьюшкой миров иных.

Или мной в другой жизни.

Или между двумя меня, как меж двумя зеркалами.

Она — как эхо чего-то, что уже никогда не восстановишь по этому ускользающему обмылку звука.

Как, быть может, самый твой сокровенный сон, а ты — весь — решето пробужденья: ни вспомнить, ни удержать.

Полое, влажное решето.

В 1502 году он расписал этот храм. Вроде бы за 24 дня. От пола до купола. Сотни сюжетов, тысячи фигур. Непостижимо. Это ж не комикс, а космос, — каждая!

Сколько Рублев писал Троицу? А этот — 24 дня — весь храм.

Фреска, а поверху темпера. Как макияж. Со временем потемнел, сняли, лицо открылось.

Теперь представь: он пишет тело длинное-длинное, как дни на севере, как дороги здешние, и маленькое — с булавочное ушко — лицо. Но в лице этом — весь Бог. Не тот, которого знаем по изображениям. Другой.

Представь себе эту субстанцию — нечто между теплым охристым песком и чистым осенним светом, и она смотрит поверх тебя, но чувство такое, что глубже в тебя никто еще не смотрел. Смотрит глазами, которые нельзя назвать ни голубыми, ни карими, ни черными. Этот текучий цвет отраженного неба в воде. Так, будто и не она смотрит из этой тканевой ниши, которая, кажется, больше скрывает, чем открывает лицо. Но то, что открыто, кажется больше, чем тело, стена и та даль, что за ней.

И еще подумал, выйдя перекурить: почему ж такие несоизмерно крохотные головы по отношению к этим тополиным посохам тел? Смирение? Целомудрие? Известно ведь, какая птица вьет гнездо в голове.

И еще: кто рисует маленький нолик и на длинной палке к нему — руки, ноги? Дети.

А кто не смотрит в упор? Звери. И мудрецы.

И еще подумал: почему нельзя сказать, что свет от их лиц *исходит*?

Да, но и что вбирают его, впитывают, не скажешь.

Терпкий такой, теплый свет. И недвижимый. И невесомый.

Нет, как бы на сокровенной границе меж внешним и внутренним, между *от себя* и *к себе*, в точке покоя, его свеченья.

И губы смолкают, чуть поджимаясь к центру, и глаза как бы смотрят, не глядя, только нос — осевой, протяженный, с красно-охристыми чуткими раковинками ноздрей — дышит.

Я не любил твои губы. Глаза твои не любил, ухо, шею. Я не любил ни грудь твою, ни живот, ни ноги. Все это было насмешкой над тем, что я мог бы любить.

Речное такое лицо у тебя, меленькой речки, свет чуть косящий над ней, раннеосенний, жиденькие берега.

И какое-то выпавшее из времени тело — то ли в будущем, то ли в прошлом.

Худенькое, нерослое. И почему-то всегда, как только глаза прикрываю, — голое, и — со спины. Мальчик. Лет двенадцати. Я.

Но вот все это вместе, все то, от чего я с таким недоумением отводил взгляд, вместе, как *ты*, как жизнь твоя рядом с моей, было единственным, чутким, так близко... чудом.

Смотри. Алтарь, центральная апсида. Мария с младенцем.

Видишь, она не держит его. Лишь чуть касается плеча. Одной рукой, правой. Оба развернуты к нам лицом.

Его пятки — на уровне ее лодыжек, голова — на уровне ее груди.

Он стоит? Нет. Он парит? Нет. Он как бы вписан в нее? И да, и нет. Она поддерживает его? Нет. Хотя бы чувствует его? Впрямую — нет. А он? И он тоже. Что ж, выходит, ничто их не связывает? Ничто. А откуда ж такая нежность, единство, родство?

Смотри: она в вишневых ризах, так? Под ризами — небесно-голубая ткань, как река течет. А начиная от колен ее

уже мы видим, она омывает его ноги, то есть он как бы стоит-плывет в этой реке, уходящей вниз и в сторону, за них обоих, размываясь далью.

Он, младенец в возрасте отрока, стоит в этой реке в облачении цвета влажной текучей глины, тронутый утренним солнцем.

И такого же теплого цвета лицо Марии.

А ризы вишневые, то есть холодные, с переходом внизу в ту небесно-голубую, столь же холодную, ткань-реку.

И вот, если расфокусировать взгляд, кажется, что одежды ее раздвигаются — там, где он в нее вписан.

Она, как и он, смотрит вдаль. Тем же взглядом — поверх дали, то есть в самую близь.

А теперь смотри на руку ее, правую: описывая полукруг, она чуть касается его плеча, безотчетно, кончиками пальцев. Ни он, ни она, похоже, даже не чувствуют этого; оба погружены в эту даль-близь.

Но продли эту линию ее руки, то есть не ты, она сама длится, течет, как та река.

Она и есть та река, только уже внизу, как бы поддерживающая его.

И отсюда, наверно, от цвета и неизъяснимого света руки-реки это чувство родства их — до сердцекруженья.

А они вдаль глядят и, похоже, даже не знают о том, что их двое.

Потому что они — одно.

Вот что мы с тобой делали. Выламывались друг из друга, как из вязко-тягучего зеркала.

А теперь отойди. Видишь? Слева от них, в северной апсиде, — Креститель, в крылья одет. Предтеча, врос в пустыню по грудь, и до небес — крылья.

Теперь справа, в северной: Николай, в рост. Белое облаченье. Слепяще-белое. Как соляная копь. Открытый цвет, чистые белила. А лицо — еще чище, еще светлее. Нет такой краски. Николай. Чудотворец.

Теперь попробуй найти точку, откуда б видны были все эти три апсиды. Нет ее. А две? Тоже нет.

Подыми голову, он смотрит в тебя, входит в твое темя. Христос.

Во весь купол его лицо. Одно лицо, и маленькие ладони, отброшенные от лица к краям купола.

И нет между ними рук; та же небесно-голубая река завивается вокруг первозданной охры его лица; такой, наверно, земля была в первый день, из вод выйдя.

Лицо — как остров. Или — как солнце, остывающее, когда не спит уже, и лицо проступает, и нету под ним Земли.

И эти ладони его, отброшенные к краям по диагонали — куда? — за мир, за воды, эти дальние маленькие ладони его, свинченные под углом, как лопасти, вращают весь этот купол воды со светящимся мирозданием лица.

Я вот думаю: сколько ж идти от тебя — той, которую вижу, чувствую, говорю с которой, до той тебя, кто ты есть? Не одну жизнь. Не мою.

Странно, даже сейчас, когда ты — та, которую я когда-то отделил от тебя, и жил с этим призраком, как в кровосмешеньи с сестрой... даже сейчас, когда ты, сестра, уж давно от меня отделилась... даже сейчас, когда уж давно рассвело между нами... быть с собой это все еще значит — с тобой.

Я ведь и в Феррапонтово это поехал, чтобы с тобой побыть. С Дионисием и с тобой.

Это храм Богородицы. Посчитай — сколько их здесь. Не счесть.

И смотри, что он делает. Они глядят со стен друг на друга, как в зеркала.

Тысяча и одна Мария.

Зеркала, с небольшим опозданием повторяющие движение одна другой.

У этой рука уже поднята, а у той — напротив нее — еще поднимается только. А время меж ними — смерть сына.

Или вон та, с Елизаветой стоит, обнявшись, еще беременная, смотрит через ее плечо. Продли ее взгляд на другую стену. В зеркало. Через 15 лет. Смотрит через плечо. Из

другой жизни. Маленькая, той до бедра. А одежда выгорела. Потому что напротив окна стоит.

Их здесь — как мотыльков в ночном саду, под лампой. Лучше уж так думать, чем про эти зеркальные коридоры, из которых не выйти ей.

Не выйти ей. Или биться о свет, или двоиться, двоиться, двоиться... В зеркалах. Богородица-Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобой.

Помнишь, мы бродили с тобой по лесу, в предгорьях, и, раздвинув ветви, вышли на маленькую поляну с голубой травой и одноруким деревом, ствол которого был гол и сух, а рука, вскинутая к небу и отведенная чуть в сторону, цвела.

И мы долго стояли так, глядя: я — вверх, на руку, а ты — вниз, на траву, усеянную этими желтоволосыми воздушными паричками.

Казалось, они ни на чем не держались, росли ниоткуда. Парили над кончиками травы, чуть касаясь их, как на пальцах.

И ты, опустив голову, глядя на них, еле слышно перебирала губами воздух.

Что? — спросил тебя взглядом.

У Марии, — прошептала ты, — были такие волосы. У Богородицы. — И, помолчав: — А лицо — как зерно пшеничное.

И я смотрел то на тебя, то на эти желтые, простоволосые, без лиц, подрагивающие, как на иголках, и не находил, что ответить.

А потом, что ли месяц спустя: — Вот, — сказала, указав пальцем абзац в книге, — помнишь?

«Вид лица Ее был как вид зерна пшенична, власа желтого, очес острых, в них зеницы подобны бяху масличного плода виду; брови Ее наклонены и изрядно черны; нос не краток; уста как цвет розы; лицо не кругло, не остро, но мало продолжено...», Св. Епифаний, IV век.

Странно, — говорю. — Бяху странно. Не припомню изображений ее со светлыми волосами. А ты?

У окна стоишь, вдаль кивая.

Масличный плод... то есть, говорю, светло-зеленые у нее глаза. Не черные же, если волосы желтые.

То есть почти альбинос. А брови черные. Такое лицо вряд ли могло не запомниться, не быть описано...

У окна стоишь — худенькая, легкая, почти бесплотная, как свет за ним, тающий.

Вот, — говоришь, и смолкаешь. — Вот, живут они, две женщины на одном подворье. У одной, юной, Бог в животе, еще завязь только, благовещанная, а у другой — Предтеча, шестимесячный, в животе. И ходят они день и ночь по дому, слушают животы, и те, в животах, слышат.

Не оборачиваешься, руки опущены, молчишь.

И еще муж, Захария, онемевший, за то что Ангелу не поверил, что жена его, Елизавета, неплодная по годам, зачнет.

Не шелохнешься, спиной ко мне, будто не ты говоришь.

И каждое утро этот Захария, священник, идет в церковь, но, бессловесный, служить не может, открывает рот и до ночи ворочает тишь губами.

Как дуновенье, стоишь у окна, не ты...

А та, юная, только ангел от нее отлетел, сказав: «Вот и сродственница твоя, Елизавета, зачала...», пошла к ней. В другой город. Одна. И вернулась спустя три месяца, когда той срок пришел.

Стоишь, пальцем по стеклу водишь.

Один дом. Две женщины. Один на двоих ангел.

А когда вошла она, та вскрикнула; ребенок ее, шестимесячный, толкнулся в животе, впервые, всем своим будущим, головой срубленной...

То есть с голоса этой, юной, идущей к ней от калитки, дернулся, духотворясь...

Что ж они делали там эти бескрайние месяцы, в дни вслушиваясь, белье развешивая на веревках, вглядываясь поверх него в даль?

У одной, босоногой, желтоволосой, со светло-зелеными глазами... завязь креста вздрагивала под сердцем. У другой, угасающей, — шерстяной комок с подвернутой головой.

А потом они встретятся в Иордане, и на миг передернется память — тем утробным видением, и войдет в берега.

Спиной стоишь, в темноте, пальцем водишь.

Или это я говорю?

Нет, и ты не любила меня. Не так, как я. Хуже, чище. Как река — берег: вскользь.

И ведь не скажешь: *нет ее*, когда она — вот: течь. А ведь — нет. На то она и река. Где? Здесь? Или там, за излучиной, в рукаве?

А он, как лес, вошел в реку, а это даже не русло было — ее расплет.

И я ведь видел тебя — оттуда, с верхних веток, видел тебя — там, вдали. Там. Пока здесь убывала.

Здесь, Мария, у ног, умывала...

Топь. Гаданье по топкой ладони.левой. Правой. Они бы совпали... Будь мы милосерднее к жизни. Будь я...

Подсыхает. Следы проступают, стены, высолы...

А в Калуге, на берегу Оки, — деревянный домик в два этажа. Там, наверху, был его кабинет. К потолку подвешены две железные рыбы, каждая — в размах рук. Они как бы плывут вдоль окон, одна за другой. Гофрированные, будто сплошь из жабер. Это его дирижабли. Невоплощенные. По идее, это железо под давлением газа должно было раздуваться, разглаживаясь до своей баклажанной формы; дирижабль взлетал, а потом — спадая с боков, гофрируясь, снижался, как ладони в молитве.

Как ладони. Да. Тебе нужно одной побыть.

Дед мой, когда служил там в паровозном депо, чай с ним пил под этими рыбами. Молча. Сахарница, щипцы, дождь за окном. Отхлебнет, и то в окно глядит, то к рыбам глаза подымет. Кусочек сахара за щекой.

Нужно одной. Побудь, конечно. Благо, сумрачно здесь, как в воде вечерней. Окна тусклого света тмятся под куполом, как косяки рыбы, солнечные мальки.

Ты — у северной стены стоишь, я — вдоль южной иду. Так и в близости нашей. Ни востока, ни запада. Как запавшая стрелка компаса.

Ты ведешь рукой по стене. И руке бы — одной побыть. И душе — одной, с глазами прикрытыми. Бесконечная коммуналка. И живешь в коридоре, на раскладушке. Память переступает тебя, чувства снуют, света полоски из-под дверей, не твои голоса.

Окон нет. То есть односторонние. Даже не так, как в полицейских участках, когда ты видишь, а тебя — нет. Ни ты, ни тебя. Мебиусное стекло. О себе я.

Как она называлась — та церковь, рядом с твоим домом, этот черный стеклянный куб с трубой колокольни? *Amort-Kirche*? Стены ее из затемненного стекла были похожи на огромные рентгено снимки, я их читал из твоего окна: негативы деревьев, людей, домов, подвисяющих облаков над ними. Как опухоли. Как тела инородные.

А в колокольне был лифт, бесшумный, с выходом в небо.

Как же она называлась? Преображения? Перезагрузки? Рестарта? Соловьи вокруг нее бесновались, как противогонные механизмы. А внутри нее исполнялись концерты Листа, Генделя... 20 евро за вход.

Помнишь, наконец мы вошли в нее, в час безлюдья, втроем. Мы с тобой, и меж нами — этот маленький человек деликатной наружности, говорящий вполшепота, как полуденная листва. Доктор Питум. Член Ложи, член Совета еврейской общины Германии, а по должности — консул Монголии.

Вы стояли там, еле слышно шелестя по-немецки, в этой выскобленной до стекла утробе, в этой выворотке огня. Где? Вероятно, у северной, в ее приглушенной дали. И весь этот акустический пустырь вслушивался, напрягая стены с этим светом, над вами защемленным, как межреберная невралгия.

Ты ладонью ведешь по стене, не касаясь ее. Говорят, эти краски были привезены из Византии. Все, кроме охры. Охра местная. То есть небо нездешнее, а телесность, тепло и земля под ногами — отсюда. Тем и держит. Не рвется. Как мы.

Вот, смотри: не кругло, не остро, но мало продолжено. Как зерно пшеничное.

А вокруг — огородный рай, краски такие сочные, как после дождя, как сны в детстве.

И мы с тобой ходим — маленькие, чуть выше травы — ходим по этому раю, совсем не видно нас.

А какой овощ цвета преобладает? Тыква? Огурец-помидор? Синь сквозь зелень? Облака плывут в огороде, овечки...

Посмотри, как он пишет толпу: паркий клубень голов. Клубень, только что вынутый из земли. Ботвой вниз.

Ты говоришь: столько сюжетов — сотни, а где ж главные? Где Голгофа? — Нет ее. — Где Вознесенье? — Нет. — А Сад Гефсиманский, а Страсти его где? — И их нет. — А Тайная Вечеря? — Нет, не видел.

Теперь ты скажи: Бог-Отец есть здесь? — Нет, кажется. — А Дух Святой? — Нет, не заметила. — Что ж есть? Жизнь? Vita?

Знаешь, о чем я вспомнил? О нашей вылазке в джунгли. Я снова проспал, а ты тихо радовалась, сидя на веранде, исписывая дневник длиннющими немецкими словами (о чем? не о нас, уж наверно), а в метре от твоего лица, на тебя глядя, раскачивалась на ветке вниз головой рыжеволосая обезьянья мадонна; левой рукой прижимает к груди младенца, правая — вольноотпущена, подметает воздух.

Да, не улыбалась тебе эта мысль. Да и я бы, наверное, не решился — один. Нет, пошел бы, но против шерсти. Очевидно, ты чувствовала, что я в тебе, в нас провоцирую. То, что, держась за руки, пятилось друг от друга. *Мы*.

Или жизнь тебе так дорога? — ерничал. Ты отводила голову в сторону, чуть сощурилась, как поджимают губы. — Что это — ценность, цаца твоя?

Да, конечно, не в этом дело — было. Я видел, ты видела. Даже та мадонна, перевернутая, висящая на ноге.

Все же пошли. Не затемно, как собирались. В самое пекло. По пересохшему руслу, вверх, в сужающееся ущелье. По желобу, заваленному валунами. Я впереди, ты за мной, тихо, палец у губ, смотри — куда ставишь ногу. Тебе тяжело идти в этом шелковом сари, не дышит, липнет. Все круче вверх, слоновьи кучи — свежие, еще курятся.

А что, — говорю, — будешь делать, когда столкнемся с ним, диким? Не разминуться тут.

Вверх показываешь, взглядом скользя по отвесной щеке ущелья.

Да, думаю, нет меня в этом сценарии. Нет *мы*.

А потом, в верховье, где не то чтобы ветерок, а так — лепет воздушный, разделась, оставшись в одних ботинках, стоишь на камне, спиной, в себя приходишь. Отметочка высоты, свеча оплывшая.

И — ни слова, пока подымались, только на солнце поглядывала, заходящее, а возвращаться — часа три.

А потом, в сумерках, на подходе к поселку, когда уже музыка была слышна, голоса, мы увидели на тропе ворох перьев павлиньих и самку, как бы воткнутую в куст вниз головой, шея ее текла, как струйка воды мерцающей, бирюзовой, и оканчивалась крохотным кулачком с распахнутыми глазами.

Мы присели на камень. И когда я, вынув камеру, хотел встать, точнее, встал и уже занес ногу в сторону куста, ты вдруг тихо сказала: — Стой!

Я обернулся. Взглядом указывала куда-то под куст. Варан, полутораметровый, лежал под занесенной ногой. Головой к нам. Глядя — хотя и снизу — в упор. С этой трещиной улыбки, безвременьем ее. Лежал под текущей к нему шеей, как под цепочкой с гирькой остановившегося маятника. Лежал недвижно, в листве, все это время, пока мы сидели, молча, на расстояньи руки от него.

Хорошо посидели, — сказал, когда отошли, — втроем.

Втроем? — обернулась. И, чуть погодя: — Сатана. И красавица.

Да, вчетвером.

Тускнеет со временем, отслаивается, шелушится. Знаешь, как восстанавливают? Плавить воск с очищенным скипидаром, потом флейцем на стену наносишь. Потом паяльником с выгнутым на конце утюжком укладываешь отслоившуюся краску. В одной руке паяльник, в другой ватный тампон, смоченный скипидаром, подтираешь остаток воска. Потом мелко стружишь хозяйственное мыло в ведро, заливаешь водой с добавлением аммиака, варишь до мыльной каши. Моешь стену от так называемых поверхностных загрязнений. То, что не поддается мылу, снимаешь хим. раствором и скальпелем. Потом пропитываешь льняным маслом со скипидаром. Шпаклюешь утраты. Грунтуешь. И, наконец, восстанавливаешь утраченные места, нанося краску всегда на полтона светлей.

Я затаился на лесах, под куполом, дожидаясь, пока все разойдутся и собор закроют. Западная Украина, Почаевская лавра, мне 18, ученик реставратора, бригада семь человек, живем в келиях, время советское, застой.

Затаился. Первые дни. Как — подойти к стене, дописать палец Христа, утраченный? Левый глаз — у Богоматери, зашпаклеванный, белый? Смотрит, как я включаю лампу, иду к ней, осторожно ступая по скрипящим доскам. Лицо ее во весь ярус, я — от глаза ее до губ.

Издали — казался черным. Фрагмент зрачка, уцелевший. А мазнешь черным — рядом, и глаз слепнет. Смешиваешь — с той краской, с этой... Нет, не то. Кажется, там все цвета переливаются. А больше четырех красок смешиваешь — грязь.

Мазками выкладываешь. Нет. Снова стираешь ватой, смоченной в скипидаре. Смотрит, терпит. Чуть слезящийся. Лессировочный. Мазками, лепестковыми, оставляя зазоры воздуха, левкаса. Так. А завтра, когда подсохнет, еще раз, жиденько, поверх. А потом еще. Тихо, знобяще тихо. Уже светает. Не волнуйся, завтра. Спускаешься вдоль нее, как в колодец. Спишь, свернувшись в ее зрачке.

Говорят лишь утраты. Да и то — не о том.

В двух часах от Калуги, на речке Протва, стоит дом. Дом Елены. Ей бы имя — И-куб. Да, Елена Икуб.

Ширококостная порода, с властным лицом боярыни.

Отличница академий. Вдова. По смерти мужа строит усадьбу вдаль от Москвы, в деревушке Бенцы, под Боровском. Пишет ее как картину. Как «Явление Христа».

По газонам, сходящим к реке, бродят амнезийные колонны — по одной; камни, вышедшие из земли, уложены в мандалы, криптограммы; безымянные людские фигуры, распиленные в Москве, привезены и установлены — сидя, лежа, вразброс частей.

Дом в три этажа, верхний — солнце в стекле, мастерская. Два других — сумрачны, замок. Амок арок, лестниц, фамильных реликвий, антикварной мебели. Занавеси из горчичной дерюги, чуть разведенной в стороны, и в просвете — до пола — фата. В столовой — журавлиный список медных кувшинов, привезенных с Памира. Каждое лето там проводила, когда была молода. Седлала лошадь и уходила в горы, полотняный мешок за плечом, блокнот для эскизов, вода, еда.

За домом — небольшой колизей, спиралью ввинченный в землю по грудь, шатровая крыша над ним парит непонятным образом. Там — вертел для борова, арена зрелищ с амфитеатром.

Лес, луг, излучина со стелющимся туманом. Пес — белый, вдаль глядит, как нестеровский отрок.

А на горе — церковь, точней, руина, Козьмы и Демьяна. Она ее восстанавливает, везет крест из Москвы на своей машине.

В Боровском монастыре старец Власий берет в ладони ее. Она говорит: между жизнью и смертью берет. Она говорит: не всю.

Ее мучает Куб. Она не знает его имен, не в силах его промерить. Это земля? Крест? Тройка, квадрат, Троица...

Не там ищет. Она художник. Она не там и не там. Она, по Киркегору, предстоянье Ему. Она не может Ему ни отдать себя — всю, ни взять. Ее, как провод оборванный, искрит о землю.

Она строит кубы: из железа, дерева, льда, воды; она расписывает их горящим битумом, она заплетает в куб иудино дерево с витражными огоньками в нем, она вяжет терновый куб с яблоками, насаженными на шипы, и сплавляет его по реке, а с прибрежных ветл капают слезы алые — и путь стеля ему, и вослед, а она уже заплетает кубы паутинные, заливая водой их в рефрижераторах, и потом выгружает эти морозные росписи на косогор под июльский пыл; текут, дымясь, расплетаясь, тая; осень жертвенная, она кровавый куб отпускает в небо, небо его не имеет, шар воздушный над кубом вьется — отлетевшая голова на тонкой жиле.

Она стоит на холме в черно-белом лоскутном своем тряпье, обхвативши ладонями плечи — как в монахиню вжался маляр. За спиной ее — два мужика деревенских, живущих в сторожке, отец и сын, выгнулись, глядя на этот дух мотыльковый, в небо бьющийся, как в стекло.

Она говорит: давай вместе — думать, делать.

Да, думаю, суккуб/инкуб...

Book, говорю, если зеркально прочесть, книга.

Давай, говорю, книгу сделаем, мельницу-книгу — на реке.

Вот и развертка куба, крест вращающийся, бесконечный. Книга-мельница-колесо с лопастями страниц.

Деревянные лопасти, покрыты сусальным золотом — пятнами, как затон на закате. А по ним битумом пишем текст — по строке на каждой.

Будь я тобой, я б писал: *Отче наш*, — прокручивается, — *иже еси на небеси*, — прокручивается...

Водоросли, кувшинки, золото с зеленцой времени, отсветы, пернатые клинья воды за колесом. Книга, листаемая снизу вверх, через небо, круговоротом.

А если собой, спрашивает.

Собой? Трудно сказать. Аз, буки, веди... Жизни мышья беготня... О Неизвестном солдате...

Она говорит: едем. Она заводит машину.

Тихонова пустынь, это неподалеку. Тихон там, старец, в лесу жил, в дупле. О ту же пору, что Дионисий. Сидел там, в небо глядел, перевернутый, как эмбрион. Древесную пу-

повину сосал, молчальник, незримую. Древа того уж нет. Храм, купель. А дальше — Оптиная, на реке Жиздра.

Здравствуй, как жиздра? — Да слава Богу.

Ведешь по стене рукой...

Да, подсушивает со временем, следы проступают, разводы. Полоса... Как ты сказала? Обмирщения? Да, обмирщения чувств. Даже в сны ты приходишь все реже. И стоишь в стороне, за стеной.

Так было в Оптиной, где я сморился под утро в душном спичечном домике, стоявшем чуть набекрень в глубине сада на окраине хутора.

Елена спала в соседней хибарке. Весь день за рулем. Легла, не раздевшись, уснула. И кажется, прежде еще, чем легла.

Это был первый дом, в который мы постучались. Аня, старушка-старожил, живет здесь с сороковых, одна. Дома пустуют. Единственный магазин — врытый в землю железный короб, высотой 1,5 метра, и зарешеченное окошко — в две ладони. Улица одна — Лермонтова, она и ведет к храму.

Ты за стеной стоишь. Не здесь. В Шамардино.

Это верстах в десяти от Оптиной. Нужно свернуть с дороги и ехать в даль, в пыль, в небытие.

Он возникает резко за поворотом. Черные купола. И барабаны под ними черные, глухие, без окон. Красно-кирпичная туша стен. Как освежеванная. И все это — в небе, проваленном до земли под тяжестью этой туши, отороченной грядками с меленькими цветами, как ворсой. И на грядках этих стоят согнутые до земли монашки, полют. Недвижно. Будто снулые холмики чернозема стоят.

И, разбросанная, как зола, деревушка окрест. А за нею — поля... И какая-то жалобная тишь висит — куда ни глянь.

Шамардино. Монастырь женский. Отрада оптинских старцев, опекунов. Здесь, значит, Толстого отмаливали, отлученного. Кто? Сестра его, что ли?

И маленькие такие окошки в этой фабричных стенах — как спичечные головки, сырые: вспыхнут, гаснут.

За стеной. Которой будто бы нет. И ладонью водишь перед моим лицом.

Западная стена. Там, где и должен быть ад, Запад.

В самом низу, справа, на уровне глаз, помнишь?

Наотмашь — как из ведра — ливанул краской. А потом взял — что? — нож, наверно, или кусок стекла. И по сырой еще штукатурке, по живому огню начал чертить людей. Как иероглифы. Так и стоят — в огне прорезанные.

«Есть тут кто? — чуть свет, Анина голова в окне. — Чайку? — щурится меж занавесок. — А Лена твоя в купальню пошла, святую, четыре градуса, там, за скитом, яр любви был, с горки, зимой, на санках, или картошечки отварить, нет его, яра, а зубы еще свои, да, пеклочки...»

В храм вошел, Числа уже прочли, полы моют. Амвросий в раке лежит. Тот Амвросий, который сказал Достоевскому, в спину: «Этот — из кающихся».

Вышел. Галки сидят на заборе, разинув рты, дышат.

Это по смерти Алеши пришел он, еще не остывшей.

Водишь рукой. Так близко. И запах ладони — речной...

И так далеко, неразличима, машешь... Кому?

Даль, гладь, озеро.

Сели у кромки, молча, зажгли костер, смерклось.

В этот смотрю, у ног, и тот вижу — ножевой.

Луна взошла, круглая, и костер наш уже в воде на треть, и она, вода, прибывает все, и уже держит его на весу, в ладонях, а он горит.

Как зеркало.

Как стрелы к ранам.

Нет в живых...

III



ФРАГМЕНТ 43

Спал я, все чаще не возвращаясь в хижину. Там, где в изнеможеньи растягивался, разгибая спину, подгребая и наваливая поверх себя бумажный холм. Текст к тому времени я уже знал наизусть. Начало его совпадало с так называемым каноническим Ветхим заветом — стихами 18, 19 и 20 второй главы Бытия.

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника соответственного ему. И образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя.

И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему».

И заканчивалась тринадцатая страница также буквальным совпадением с каноном.

«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Бытие, 6. 1,2.

Между ними — текст, начинающийся известными нам словами двадцатого стиха второй главы: *И навел Господь Бог на человека крепкий сон.*

«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял от каждой твари земной, созданной им, и от каждого растения, и каждой травы полевой по семени их, и смешал семена, и создал из них женщину как одно из многого, и придал ей форму человека.

Когда же проснулся Адам, увидел ее и сказал: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, жена моя, и назвал ее Ева, говоря: ибо она жизнь моя, из ребра моего.

И оставил их Господь Бог в раю среди ясного дня, и отошел в прохладу.

И был невинен Адам, не зная себя как одно во многом, и Ева была невинна, не зная себя как многое в одном.

И столь хороша была она и днем и ночью, что любовался ею Господь, из прохлады глядя, говоря: вот лучшее, последнее, что я создал, — Жизнь.

И сказал Господь Бог: вот мир без Жизни, и лучшее в нем — Адам.

И вот Жизнь, и весь мир в ней.

И вот, весь мир в ней, и нет в ней Адама.

И вот, нет лучшего в ней, а в нем — нет Жизни.

И опечалился Господь в сердце Своем, говоря: вот, Жизнь и муж ее, как вода и твердь, не ведающие ни себя, ни другого. И придвинул их друг к другу лицом, и возложил на них ладони свои, и покрыл их облаком, дабы соединить их.

И клубилось облако, скрывая их день и ночь, и за месяцем месяц. И, по истечении срока, вышел Господь из облака, и вслед за ним вышел Адам, и истаяло облако, и оглянулся Адам и увидел жену свою, спящую на траве, и плод пробуждался в чреве ее.

И поставил Господь Ангела сторожить ее сон. И провел черту между ними.

И стоял Ангел, глядя на Еву, и она улыбалась во сне, протягивая к нему руки, влажные от росы, и складывая по слогам губы.

И дрогнул Ангел, прельстившись, и преступил черту, и познал ее спящую, произнося все ее имена.

И она повторяла за ним во сне все свои имена, и все твари земные и птицы небесные, и все гады, пресмыкающиеся по земле, и всякий древесный плод, и трава полевая, слыша имя свое, обступили чрево ее, и познала она свои имена, ища среди них себя и не находя.

И тогда Он открыл ей глаза, говоря: вот Бог твой, и вот, что он сделал с тобой. Иди, открой глаза мужу своему, ибо вот кровь твоя на земле, и в ней смешенье времен.

И встала она, и пришла к Адаму, и нашла его спящим у реки, и открыла ему глаза во сне, говоря: вот имя мое, и нет в нем тебя; вот, что Он сделал со мной.

И восстал Адам на Господа, Отца своего, говоря: Ты дал мне Жизнь, и я женою назвал ее, но Ты стал меж нами, и я теперь ни с Тобой, ни с нею: не с нею, ибо нет меня в ней, и весь мир через нее проходит; и не с Тобой, ибо этот мир — Твой.

И восстал Господь во гневе Своем на Адама, сказав: прах ты, и в прах возвратишься; вот земля и жена твоя — по вере твоей и гордыне, и отринул его.

И жене сказал: умножая умножу скорбь твою, в болезни будешь рожать детей: зримых — от мужа, незримых — от прочих вещей, и отринул ее.

И презрел Ангела, говоря: за то, что ты сделал это, будешь ходить на чреве своем, и будешь есть прах во все дни жизни своей, и вражду положу в семя твою меж мужским и женским; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пята; имя ж твое отныне: Время.

И вышли они втроем: Адам, Ева и Ангел Господень из сада Эдемского, и закрыл Господь путь в него мечом огненным, обращающимся.

И родила Ева Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля, и сказала: приобрела я человека от мужа моего, Адама. И затем родила им сестру, и сказала: от Ангела. И вослед еще родила: незримо.

И когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто — ».

Здесь тринадцатая страница обрывалась. Я засыпал, шурша бумажной насыпью с торчащей из нее головой.

ФРАГМЕНТ 43.1

Вход в этот коробчатый лабиринт находился там же, где был и вход в хижину, я отвел полог, вошел и тут же отпрянул. И вместе со мной отпрянули — разом — все те, кто стоял за пологом; те, что прямо передо мной, и другие — по обе стороны, за каждым углом.

Я сел на землю перед пологом, не сводя с него глаз, глубоко дыша, пытаюсь справиться с липкою дурнотой. Но какая-то сила, не от головы, скорее от живота, волнообразно подталкивала меня к нему. Дымок от костра истончился, и, будто кто его срезал вверху, обвис, и, вильнувши, юркнул в золу.

Я снова вошел.

И все те — и прямо передо мной, и по обе стороны — шагнули навстречу, отдернув пологи. Это было похоже на поставленные под углом зеркала, так поставленные, что видишь себя со всех сторон, и особенно тех, каких не видишь, глядя в обычное зеркало.

У него были черты моего лица.

Моего лица, но — веером — отчуждавшегося от меня по обе стороны от того, что было прямо передо мной.

От того, что было прямо передо мной, до тех, глядящих на меня из-за угла, вполоборота, до тех — вдали, по обе стороны завершающих вереницы, стоящих ко мне спиной.

Значит, они спали со мной под одним покрывалом, они собирали с деревьев страницы, ели со мной, рылись в моих снах.

Я подняла руку — это его рука поднялась — у всех тех, кто меня обступил.

Он поднял и другую, снимая с меня одежды; и все те, что глядели из-за угла, и те, что стояли спиной ко мне, выгнулись, замирая.

И он опустил руки на бедра мои, и повел вниз, до щиколоток; и все те, прикрыв глаза, переступили с ноги на ногу, перешагнув.

И он поднял лицо мое, и развел волосы, льющиеся до земли, и обнажил лицо мое и шею мою, запрокинутые к нему, стоящему за плечом моим, и разжал губы мои губами моими, и вдохнул грудью моей, и отнял от нее ладони, но она, продолжая вдох, все тянулась к ним расплывающимися и твердеющими сосцами.

И приблизил ладони он к животу моему, и взял всю дрожь мою от ног и до темени, и раздвинул бедра мои, и сверкнула роса меж ними, затуманивая ту, единственную, что стояла передо мной.

И вошел он в меня, и мы стали одним, на себя разделенным, одно на одно.

И все-таки что-то одно не делилось, когда я открыла глаза, что-то было еще.

ФРАГМЕНТ 43.2

К утру, сбившись с дороги, я лег у ручья в долине и закрыл глаза.

Выждав какое-то время, он бесшумно раздвинул молнию изнутри, встал и перешагнул сумку. Я старался дышать ровно, не выдавая себя. Он еще постоял, склонившись над моим лицом, вглядываясь, развернулся и нетвердой походкой зашагал по тропе, вьющейся вниз вдоль ручья. Я перевернулся на бок, дождался, когда он скрылся за поворотом и, перебегая от дерева к дереву, отправился вслед за ним.

Он шел на юг, к морю, к хижине. Когда я понял это, было уже поздно: я бежал по прямой, не прячась, пытаюсь догнать его, но расстоянье меж нами не сокращалось.

И когда я вбежал на поляну, он уже затихал на ней, вздрагивая. И она, из-под него на меня глядя, выдергивала из его спины ключ и отбрасывала в сторону. Но уже другой, раздвигая кусты, шел на нее.

Эти пухлые косопалые детки-младенцы с бледно-розовой кожей были с меня ростом. Они шли на нее, вытянув вперед руки, глядя вверх распахнутыми мутно-голубыми глазами.

Я кинулся к ней, оттаскивая это, обвитое ее руками, вибрирующее на ней тело, и почувствовал, как ее руки обвивают меня, и еще, и еще руки, облапывающие мое лицо, шарящие по спине, скребущие меж лопаток...

Они шли и валились на нас сверху, вжимая меня в нее, глаза к глазам, но меж нами еще трепыхалось тело, и, смыкая руки свои на мне, она все крепче его к себе прижимала. И кусая губы мои, постанывая, вдруг менялась в лице, и, откинув голову набок, закрывала глаза, лишь подрагивание ноздрей говорило еще о жизни.

И опять открывала, но из таких глубин всплывая, где дна нет, и так на меня глядя, как будто нет у меня ни глаз, ни лица, ни самого меня, ни рукопашной этой возни на ней, а только небо и она под ним — вся, как кино без звука, вся — на глазах старела.

Я запрокинул голову, сколько мог, а она все шептала: *ты... ты...* А они все шли, раздвигая кусты, оттуда, с севера, как слепцы, вытянув перед собой руки. Там, за ними, вдали, над горой, дым багровый курился, звезду оплетая. А она все менялась в лице, исчезая и снова всплывая — другой.

И когда я уже отошел от поляны на расстояние крика, он настиг меня, этот крик — не человеческий, не волчий, не птичий, не горлом рожденный: протяжный, горячий и мокрый — крик лезвия в шраме меж жизнью и смертью. Я покачнулся, но устоял и шагнул на тропу. И они подхватили меня, волоча по земле, и взметнули на темя горы, и прижали к земле.

Я глядел на ревуший огонь, на кривые его языки, на искрящийся дым, оплетающий звезду; они шли на огонь, выходя из пещер и неся на руках, как младенцев, — ее. И валились в костер.

Тот, в высоких ботинках и форме, стоял у костра, утопая в плывущей буреющей глине и шестом их в огне ворошил, и, костер обходя, их оттуда выкатывал по одному. И, скатившись с вершины, они пропадали из виду по четырем сторонам этой, как бы привставшей и будто идущей на месте горы.

Те, что падали в воду, внизу, у подножья, всплывали и из воды выходили, но — только она, без него. Те, что падали в то, что зияло, как бездна, внизу проступали: но — только он, без нее. Те, что скрывались в огне, из огня уже не выходили — ни он, ни она. И те, что сцепившись катились по праху, вставали и шли от подножья на юг, но только не он теперь, а она, как младенца, его прижимала к груди.

Ботинки шагнули, шест ткнулся в меня, я вскрикнул. Взмыл голубь. Долина. Ручей.

ФРАГМЕНТ 44

Пес сидел на уступе, губы вытянув к звездам, будто горошину ими держал. Так держал ее бережно и осторожно, будто в ней была вся его жизнь. А под ним на далеком чернеющем дне — мелкий дребезг огней.

Он глядел вверх, во тьму этой прорвы меж звезд, а точнее — в одну ее точку. Ту точку, из которой те мы, мы с тобою, друг с другом настолько сращенные, что уже не понять ни зачем, ни когда, ни насколько, ни где начинается *я*, начинается *ты*, в ту те-мы-с-тобой-точку, в тьмы бутон светозарный, без света, без тьмы, без бутона, без нас, в ту без-точку, из которой, которой мы видим уступ и горошину света в губах у сидящего пса, и по сторонам от него — нас с тобою, но так далеко друг от друга, что когда у меня начинается день, на тебя опускается ночь. Этих нас, для которых чем ближе они, тем мутнее, и глуше, и отчужденней.

Эти мы, двоеточье, отсрочка мыта, которое мы-там, для которых мы — точка. Из которой мы видим — если взгляд чуть вперед пролистать — край плато и уступ, и лежащего там на спине в плащ-палатке — .

ФРАГМЕНТ 45

...кубарем, юзом, волчком, сжимаясь, выпрастываясь, как две переплетенных птицы внахлест, падала, скатывалась по откосу в бурунах песка, цепляясь за, нет, притормаживая, нет, скорее, пластаясь безвольно, то вниз головой, то боком, и выкатилась к воде, лежит ничком, без платья, голая, в траве прибрежной, иле, крыло волос лицом подмято.

Шагнул, на корточки присел, перевернул; глаза закрыты, подрагивают губы — что? — нагнулся, щекой коснулся ненароком ее щеки — глаза открыла, смотрит, ресницами касаясь моих ресниц. И — этот взгляд, потом, глазу окуная в глаз, молчит, ни слова, месяцы — ни звука.

Имя? Нет имени. Любил? Как пальцы защемляя дверь. И нет тебя в ее глазах, нет отраженья. То есть — сколько хочешь. Она тебя не видит, проходит сквозь и знать не слышит. Справлять нужду при мне, в постель ложиться, глядя, как в пустоту, туда, где я. Там всюду небыль, пустота, дыра вне возраста и пола, в людях, во всех. Она в них, как во сне. Без снов, без сновидений. Чем дальше от людей, тем пробужденней. Чем ближе к камню, дереву, воде. Живее, радостней, сказал? Нет, замороженной и вожденней. Я видел это.

Это. В горах, в пустующем отеле, в полнолуние, с распахнутым на озеро окном. Она бесшумно встала из постели, вышла. Выждал, оделся, вышел вслед. Спускалась к озеру, простоволосая, босая, и опустилась на колени перед ним. Но нет, не перед ним, а перед мшистым камнем, щекой к нему прижавшись, обхватив руками его пологий бок, привстав, прильнув к нему и дрожью ног обвив, и как бы наползая всем телом, животом вжимаясь в каждый выгиб его, кряхтя, урча, целуя и забирая в рот губами этот мох, скользя, скребя ногтями и кулачком стуча в проплешину во мху, шепча в него (шепча — так значит, не немая!), соскальзывая вниз, подтягиваясь, туже вжимаясь в этот мох бугристый, тужась, задрав лицо к луне и разметав крыло

волос, уже почти крича и животом плеча в ребро его, вдруг дернулась и стихла, стекая с валуна, легла под ним, калачиком свернулась, лицом невидящим — ко мне, спиной — в него вжимаясь.

Взял на руки, нес в ночь, рукой обвила, губами ткнулась, плавким бредом лудила ухо, голубить, нежить, терпеть — глаз к глазу — в разруху радуг, и слепнуть, слепнуть...

ФРАГМЕНТ 46

Они где-то там, в небе, за углом его зренья, как сметенные за край страницы знаки певчего препинанья, кружат, стягиваясь в прашу, и, развихриваясь, приближаются, вдруг врываются в проем оконный, бьются в лицо его; накипь их остроклювая застит его и сквозь прищур верещит, когтя хрусталик его, задернув воздух тысячекрылой тьмой, они губ египет считывают сквозь ладонь его, и, уже считав дельту ее, плюют в лицо ему этим визгом своим целлулоидным, на цокающий дельфиний сбиваясь, на липкий лепет, и — нет их, звук лопнувшей вдруг струны.

На двенадцатом этаже у распахнутого окна стоит он; ни города под ним, ни страны. Чистый лист утреннего перламутра, вновь с угла в клочья рвущийся — так, будто это его лицо рвется, и снова лист стягивается на глазах в чистый.

А они опять, эти ласточки, на вираж заходят, чтобы снова биться в лицо ему и кричать... Если б мог он думать сейчас, он бы как-то связал этих ласточек с тем, что в комнате происходит за спиной его. Но лишь стоит что-либо начать ему связывать, как снежит и снежит глазах.

То, что это не человек, там, в углу за спиной, — это ясно ему, безотчетно. Не сон, не виденье. Но что? То есть кто? Голая на голом полу, сидела она, утопив подбородок в колени, чуть искоса глядя на ноги его, проходившие мимо, на свет меж раздвинутых штор, на дверь приоткрытую в кухню, где пил нараспев свой утренний кофе, и снова на ноги в проеме дверном, на чашку, взметнувшую черный косой парусок,

на то, как отпрянул и замер, а чашка висела в воздухе, пересчитывая под собой осколки, на этот растущий под его босыми ступнями мысок золотистого света. Искоса, из угла. Онемело он глядел на нее. А она на него. И свеченье меж ее напряженно сощуренных век исходило такой сверхъестественной силы, что мнилось — открой чуть пошире глаза, и его бы смело световою волной.

Но удерживала, чуть раскачивая, как качели, этот свет меж век, глядя искоса, из угла, в этой позе — уткнув подбородок в колени и светясь в глубине этой волглой пещеры — будто худенький серпик луны на ущербе, отраженный в воде зыбкой дрожью до самого дна.

Он стоит на двенадцатом, у распахнутого. Стрижи, шепчет он, нет, не ласточки-антигоны, а стрижи. Как прихотливо мысль ведет себя — над пропастью витийствуя во ржи, к себе спиной, что ищет — листригонов? Тот лунный свет в углу, как голубой кумыс в кувшине тьмы, без тьмы и без кувшина.

Вчера художник-друг оставил ему ключ и уехал к морю. К ночи дверь изнутри он запер. Утром трижды мимо того угла прошел. Кто, впрочем, сказал, что если ангел, то непременно крылья? Искоса, из-за шелка тучи она на него глядела, как луна на хутор.

У распахнутого, снова чистый станет черным от этой стаи. Черный, скомкан, в лицо брошен. И опять проступает истый, белый, как из пепла. Что за книгу они листают?

Они, он шепчет, слюнят страницы. Они не могут взлететь с земли. Их путь не здешний, но и не птичий. Кривая в небе им только снится. Попав на землю, ползут и гибнут — зачем иначе им крылья такой длины? Их хвост раздвоен, они не в лимбе, они в звезде, как че-к у Винчи.

Он стоял и смотрел на нее, наверно, прикрывая лицо ладонью, тем же жестом, как сейчас от птиц. Тыльной ее стороной к губам. Взгляд его поневоле скользил к той ложбинке вербной серебристо-пуховой, почти бестелесной — так казалось ему, судя по лунатичным верхам.

Он, наверно, что-то тихо сказал ей, вроде: *ты кто?* Так, что и сам не расслышал, вглядываясь в ее черты: неуловимо они на глазах менялись — от дочки до матери, до... Губы ее подрагивали, чуть приоткрыты: *ты... ты... ты...* Или это она так дышала — прерывисто, чуть задыхаясь?

И вновь отдаваясь, смывала черты и светилась в углу, как серпик луны в ореоле — к похолоданию. И близилась снова — другую, по льду, не по крови. Лицо проступало, как пишет мороз по стеклу, и тут же теряло свои очертанья, но так, будто кто-то стоял за стеклом наготове, губами прильнув, замутняя дыханьем окошко.

Но как бы она не менялась — она не менялась, вот ведь что. И не потому, что ее черты не значили ничего. Не в этом дело. Мир, как кошка, падал внутри него, кувыркаясь в воздухе, уменьшаясь до неразличимой точки, закавыченной в коготки. И неважно — где и когда земля, да и будет ли.

Он стоит у распахнутого... Этой жизни в углу нет имени,
этой худенькой лунной, в колени лицом,
не из тех, с кем живут долго-долго и счастливо,
не из тех, с кем в огне ли любви, в ее дыме ли...
У распахнутого... Ночь выкатывала луну, как яйцо
по небу, будто порчу снимала. Сейчас она
лишь едва видна, чуть туманней, чем та — в углу.

Не из тех... Он, как птица, отводит беду от гнезда:
голем, призрак, пришелец, суккуб, и вообще —
это кукла художника, друга, к нему..
Но как молот в груди: да!.. да!.. Та
это женщина, та, и не спутать ни с чем
это чувство, точнее, предчувствие: Ты!..
Он стоит, —
без которой и Бог — пустота, —
у распахнутого. И — летит...

Но не он, а земля к нему, да и та —
как исписанная страница —
лишь покачивается вдали.
Он висит на незримых нитях
под раскрывшимся птичьим куполом. Так легка —
если взгляд отвести от земли —
эта ноша. Легче воздуха. Он струится,
глядя искоса сверху вниз
на распахнутое, почти невидим —
как тот серпик луны,
как жизнь...

ФРАГМЕНТ 47

Что? — отзывается она волглым голосом из сумрачной
глубины за его спиной.

Отблеск ее расслаивается на смутные очертания —
рук, сведенных накрест, влекущихся вверх вместе со сви-
тером, оголяя белое узенькое льняное, текущее с перека-
та плеч, висящее на них во тьме на двух тонких бретель-
ках. Сгрудившееся маленькой раздвоенной волной, схо-
дящейся книзу и заправленной под широкий солдатский
ремень.

Она садится на высокую грузную кровать с допотоп-
ными никелированными поручнями, расшнуровывает бо-
тинки с чуть приоткрытыми ртами, залепленными подсох-
шей глиной.

Он слышит, как падает со стуком один, а за ним — мяг-
ко — другой, видимо, вверх головой, привалившись к пер-
вому.

Он слышит бегущую трещинку ее взгляда, скользяще-
го по стене.

Он слышит ее вздох — несуществующий.

Он слышит и этот протяжный тоненький выдох во-
след — как сквозь пуговку.

Слышит ее зрачки, суженные до лодочек, отнесенных
вдаль от берега.

Слышит неслышимый плеск под ними, глядящими в
белый тлетворный покачивающийся потолок, в этот голый
лишайный свет.

Слышит пуховый щекочущий край одеяла, подтянутый
до подбородка, и кулачки со шепотками этого края по сто-
ронам от лица.

Слышит дрожь ее губ безоглядных с этим богом незри-
мым, осевшим в горькой складочке в левом углу.

Слышит дождь за окном и бродящий по дому, эти плав-
кие лужицы под его дребезжащими струнами.

Слышит годы дождя, слышит струйное голое тело его с
рваным выгнутым пологом в нотном рабызге.

Слышит тело его, как ее, — с этой зыбкой промоиной света за ним. С этой моросью тьмы, с этим робким дичком вдруг мигнувшей звезды и испуганно юркнувшей вспять. С обложной тишиной, барабанящей в окна.

Их двое лежало — она и он — вниз лицом, на полу.

И он — тот, кто смотрел на них.

И из этих троих было ясно — кто есть она. И невнятно — кто он: тот ли, который лежит вниз лицом, будто глиняная заготовка, как нарочно без черт, чтобы не опознать, или это он сам — тот, кто смотрит.

И оба лежат по углам — с этой рваною болью разрыва.

Но с кем? С тем, кто лежит? Или с ним?

Кто лежит?

Нет, не разрыв, она не уходит, она остается с ним, вот что. А он — тот, кто смотрит, он третий, разрез между ними, а там — на полу — зарастающий шов.

Ошибка. Шов перешивается. Он — на полу, а тот на них смотрит.

Тот смотрит, к кому и она в этой ломке развернута в пол глядящим лицом.

Тот, без семени Бога, бесполой, оплывший, бесследный — потому и уходит к нему, как скользящая гирька весов — в пустоту, в немоту, барабанящую по стеклу.

Дом догорал, обваливаясь красно-синим витражным огнем, обсыпаясь чешуйчатым жаром. Парафиновый сад, оплывая, мигал в его отблесках.

И кривилось окно изнутри набухающим отраженьем. И вдруг лопнуло, вскрикнув беззвучно. Крыша села на землю, прижав его и на нем чуть покачиваясь.

Обернулся: ни дождя, ни души. Поднял голову к небу: оно подсыхало, дымясь зеленцой сквозь прожженные точки, и все отдаляясь, вращаясь, и отдаляясь.

ФРАГМЕНТ 48

Она ищет ее в моих снах.

Вот уже которую ночь она входит в них и ищет ее, молча, не обращая внимания ни на меня, ни на происходящее.

Как сомнамбула, ходит и ищет ее, приподнимая край моря, разгребая ногою снег, скользя в оставленную открытой дверь моего жилья.

Ищет, не прикасаясь к вещам, вода по сторонам своими тихими осенними глазами с этим предутренным дымчатым светом и едва уловимым листовано-грибным запахом.

Губы помнят его, этот запах и свет, сквозь ее мотыльково подрагивавшее под ними веко.

Ищет ее, а я стою в тени сна, вижу ее, ту, которая ищет, и не понимаю, не спросишь, не докричишься, хоть вот она, рядом, коснулась рукой, не заметив, прошла, как сквозь воздух.

И что их роднит? Имена? Да, одинаковы, с талым свеженьем в ночи. Ближним светом и дальним.

Ближний — которая ищет. Дальний — которую. Двадцать лет между ними.

Дальняя — семнадцатилетнее длинноногое солнце, то, что с разбега прыгнуло в волны и все струится — так, что лодыжки еще не коснулись воды, а запястья уж на другом берегу выныривают, и между ними — как перехваченное дыханье — всё море. И она смеется — во мне — в огне — в окне — единственном, что остается.

То есть та, дальняя, — ближняя, первая. А эта, ближняя, луннотелая, — дальняя, которая здесь, рядом, с влажным запахом глаз, не глядящих в меня, ее ищет; входит в сон ночь за ночью и ищет.

И как ей найти? Они же не знают друг друга, не видели никогда.

И потом, я подумал, и она в этот миг вдруг из угла оглянулась, вглядываясь меня, стоящего у окна, против света, нет, глядя сквозь, не видя, я подумал, что та, семнадцатилетняя, теперь, через двадцать лет, ей едва ль не ровесница, и — кого ж она ищет?

Ту — со смехом соленым голубоглазым, или эту — с лицом остывающим вязким, как солнечная смола?

Приближается, нет, не видит меня, открывает окно и выходит; за ней ни меня, ни окна, из которого смотрят.

Кто смотрит? Лишь местность, притихнув, считает шаги. И сколько нас — четверо? Трое? Одна? Скользят по тропе пустые ладошки листвы. Косо скользят, за нею.

Не там она ищет, не там. В Чистеньком надо искать. В Чистеньком, где теперь живет. А росла на высокой скале у моря.

И что за судьба у них, этих понурых жилых табунков, не дошедших до моря; стоят, пригнув головы к желобам дорог, помахивая безутешными именами: Счастливое, Радостное, Лучистое...

В Чистеньком, во дворе, подоткнув шерстяную земляную юбку, нагнувшись так, что тусклое золото льется, скрывая лицо, над корытом с растущим недетским уже бельем в ледяной, отжимая его тонкокожими жгучими варежками ладоней.

И груди ее, шепчу, глядя на эту, скользющую по листве, лунную, по багряной, вниз, к морю, груди ее, те, вокруг которых слепящие пчелы солнца вились, едва удерживаясь на весу, теперь покачиваются под свитером, грубым мужским, на голое, покачиваются, как два бедуина, плывущих сквозь годы вниз головой.

Вниз головой, шепчу, покачиваясь, спускаясь к морю, вослед этой, написанной мелом на черном, пока еще мокрому, пока еще серому, полупрозрачному, с багряным шуршащим подолом, шепчу и спускаюсь за нею, скользкой обрыву над морем, к сидящей вдали на кренящемся камне

фигурке, обнявшей колени. Чем ближе подходит, тем дальше она от нее.

А если б дошла, то — к кому? Кто на камне сидит? Длинноногая жизнь с бирюзовым сияньем в глазах или стынущий свет, обхвативший колени, тягучий, с запеченным солнцем лица?

Чем ближе, тем дальше. И что между ними? Лишь я.

Так что ж, сквозь меня она движется, ищет ее? Но за чем?

Она оглянулась и смотрит в меня своей карей дымчатой осенью глаз.

«Ну что ты? Зачем...» — шевелю я губами, она покачивает головой.

Ветер набрасывает на лицо ее волосы, и они застыт его, вверх подергиваясь, как крыло надломленное. Так и стоит, не отводя рукой.

И мне их рукою не отвести.

Заштрихованное лицо, серебристый протравленный полог, за которым лицо, за которым должно быть лицо, луннотканое, с тонкой отбеленной болью, ее, но неведомо что с ним творится.

И бессмысленно ждать, когда переменится ветер и откроет лицо.

Не откроет, не переменится. Он идет от меня. Сквозь меня, этот ветер.

И я вижу ее, то есть то, что *не можно* видеть, — ее как тайну, которую не приоткрыть, за которой, кроме которой, и нет ничего.

Не покров, — лунатичный отщеп, существующий сам по себе, как пробел в том, что мы принимали за жизнь.

Как пробел? Нет, скорей, как защемленный палец, отбеленный болью до света, до светокруженья.

И не только, не только там, на луне, где перелистывались наши ночи и тело ее парило в невесомости над моими

руками, как вспаханная пустота, но и здесь, на земле, где теплились дни, помнишь, как белизна ее всё уворачивалась от света, да, рыжего, солнечного, который проникал, казалось, повсюду с красновато-хмельными прищуренными глазами и мутящимся на губах воздухом.

Ходила ль она с зонтиком? Нет, но каким-то образом выбывала из светового пространства между деревьями. И всякий раз я договаривал фразу в тени следующего, где она вдруг поднимала ко мне лицо, будто ждала там.

И возникала она в моей жизни всегда в тот момент, когда та запиналась пробелом.

Или наоборот?

И всегда исчезала, когда свет начинал колоситься. Как меж деревьями. А теперь? Будто нет меня. Что же ею движет?

Он поворачивается спиной к морю, к его стеклодувной близи и ртутью залитой дали, и речь его, подрагивая, отступает, как та плавкая пена, еще длящаяся во взгляде, кружево разутюженное. Здесь.

А там — жметя дворянским облезлым боком к скальному мысу, дышит мокрым своим колотьем.

Каша, говорит он, псина, стекло, ртуть, кружево... Горы ползут, как каша. Море псиной разит. Перловой ползут, предзимней.

Вот и она, дальняя, то есть ближняя, лунносветная, бредет во сне, как конец сезона.

Когда воздух стоит огромен и тих, и глядит сквозь пустой глаз.

Когда крыши деревьев, ржавая, сыпятся внутрь. Когда тянет грибным дымком. Когда время с пространством проходят друг друга сквозь, не узнавая.

Когда свет на хвосте скользит, удаляясь спиной вперед и улыбкой двоясь дельфиной.

ФРАГМЕНТ 49

Черенки света подрагивают. Сиди тишком.
Превращаются в бабочек гусеницы-мысли.
Не дают нитку втянуть в ушко
ангелы, по ошибке привитые к жизни.

В ожиданьи глубинного взрыва
взгляд ветвился, блуждал по тебе,
проникая вовнутрь, как длинная рыба
в непроглядный корабль, лежащий на дне.

И кружила Мария, сошедшая в ад
(я глаза закрывал удлинявшимся детям),
там, где лобное место, где жизнью казнят,
и всплывала. Томительный петтинг
затевали с тобой семь реликтовых рыб,
исходя пузырями. И, сбитая с толку,
ты стояла под лампой и терлась о нимб,
все пытаясь продеть эту нитку в иголку.

ФРАГМЕНТ 50

Все мы до одного
вымерли, думал, еле
дыша у твоих ресниц.

Руки даны для того,
чтобы не роговели
губы, как у птиц.

ФРАГМЕНТ 51

Трепетание света периода полураспада.
Даль без неба, не даль, а снотворный альков.
И не море, а марево мора да глада.
И узилище взгляда вдали берегов.

Не окно в этом доме, а рекрут печали.
И не время в пространстве, а рыба в сетях.
И не ревность, — причал, и на дне янычары
до заката с кривыми ножами сидят.

О, не дева, не речь, я бы взял тебя в жены,
кабы ты не сложила другую судьбу —
этот вьющийся путь, словно волос прижженный
и сдуваемый с теплой ладони во тьму.

ФРАГМЕНТ 52

Она не в глаза ему смотрит,
но и не в сторону, а скользя
по его виску — вдаль,
к мнимому горизонту.

Он не в глаза ей смотрит,
а — как всегда — в два
берега речи, но
видит ее глаза —
там, высоко, над —
распахнутые:
слюдяной зрачок
меж двух полумесяцев
неподвижен.

Он
гладит ее ладонь, но
самого его здесь нет,
в отличие от нее. Он
в узел стянут вверху — там,
где ей не видать, а внизу распущен
по всем путям.
И этот его отвяз
и натяжень нитей
одновременно —
ее влечет и в заблужденье вводит.

Она,
в отличие от него, вся — здесь:
закон, клинок, осанка.
А он — горбун, он конюх
горбунков. Он — там.
Ей тыщу лет и год.
Он — безвременье.

Она — восток,
шахерезада света, место
силы, танец
струящихся запястий и мерцанья
цепочек на лодыжках, тайна
двух полумесяцев —
по сторонам зрачка —
у входа в христианство.
Выкрест, дочь
ислама
под тоненьким покровом православья —
как чернь по серебру.

Он — время, потому
и неуместен.
Ветер. Песок. Вода. Родства
не помнящий — он русский, по призванью.

Как Божий перст — она.
Он — безымянный палец.

В роящейся теснине вернисажа
они столкнулись. Он
пошатнулся, вздрогнув,
и к лицу ее
взмахнул ладони и прижал к щекам,
не ведая, что делает, сближаясь
ресницами, губами, образуя
вокруг себя воронку, отражаясь
в глазах, по ним скользящим,
выпадая
из времени и движась
к выходу; она роняет
бокал с вином, не слыша звона,
и рука ее — чуть на отлете —
как будто держит все еще,
и ночь с порога, снег метет,

и фонари раскачивают тени; их относит
от города все дальше — как на льдине.

Им кажется — они одни,
но нож незримый, гнутый,
принюхиваясь к воздуху,
змеится вслед за ними
на расстояньи крови — кровный
нож с фигурной рукоятью:
семь фигур —
она их видит
через его плечо;
они стоят почти вплотную к ним,
сплетенным в поцелуе так, что он,
сам на ногах слабеющих,
ее льняное тело
с отринутым сознанием
на весу
едва удерживает.
Белый
протяжный снег метет
меж голой накренною землей
и туфельками легкими ее,
и красный
снег искрится на ресницах.

Им кажется — они во тьме,
в углу укромном. Но стоят
на площади, на самом видном, ярком
пятне ее, в луче,
направленном с незримой крыши на — .
На что — они не видят. Семь фигур —
на расстояньи взгляда
(ее, он к ним спиной развернут).
Она
на нем, как на карнизе,
висит над пропастью,
и снег метет под нею.

Семь фигур —
полукольцом —
к ним близятся,
то проступая в пелене,
то медля, тая.
Клин клана,
братья во гнезде,
коран кинжала.
Шестеро из них —
сигнала ждали. Муж,
втянувши голову, стоял.
И, наконец, сквозь зубы: «Жить
оставить». —
И, взгляд пригнув,
как лошадь под уздцы,
повел его.
И площадь опустела.

52.1

Их губы перешли на «ты».
И снег. И руки.
Они сплелись. Но тень от них —
как мост разведенный дрожала.

Не страсть уже,
но не любовь еще,
а *люсть*:
как глина на гончарном круге,
растущая меж двух ладоней —
тьмы и света —
до черты незримой,
чтоб оттуда
быть смятой и опять расти,
виясь и утончаясь меж ладоней...
Знать бы — чьих.

Ты знала.
Да и мне казалось.

Чем жарче прижимал тебя к губам,
тем створы
моста всё выше отклонялись.
Как ладони.
Как тени их. Меж ними течь змеилась —
бездомней тьмы
под влажною простынкой белой.

Ты видела. Ты помнишь. Ты сказать
хотела.
Себя во мне хотела.
Про себя.

Губами
я ткал твои черты.

И я
хотел —
хотя не в *ты*, не в *я* —
жилья.

Шли дни,
но не в затылок —
врассыпную, горбясь,
шли против ветра, втягивая шею
в плечи, с рассеянным и зябким,
утлым —
едва ли светом на спине.
Дома стояли,
надвинув крыши набекрень,
под снегом.
Меж кос косых, струящихся с небес,
мы плыли —
сплетенным иероглифом греха
и чуда —
белые на белом.

И, войдя
в огонь,
как дети,
души наши — молча, исподлобья —
на нас глядели:
там, в огне, оттуда, взглядом
не встречаясь с нами.

Ты видела. Ты помнишь. Хоть лицо
и отводила вверх и в сторону, вдоль неба.
Глаза твои слезились на ветру,
зашорены ладонями моими.

Я помню этот вечер, этот дом,
от холода на месте семенящий,
и бар, где мы одни, и за окном —

бесшумный желтый колокольный снег —
под фонарем качавшимся,
к которому спиною ты сидела.
И свет от фонаря листал лицо
мое, к которому ты близилась
и отводила
глаза. И искоса, и исподволь читала —
но как бы забегая наперед
и пятясь от конца к началу —
меж строк двоящихся, меж берегов
размытых, в той реке,
где не прочесть уже —
прижавшихся друг к другу
нас, плывущих
под тем мостом разведенным;
и, чем теснее
прижавшихся душой к душе,
тем — вот ведь что — светлее
реке,
и вдоль реки округе,
и кромешней,
в храме,
горящем над рекою.

Тень. Глаза.
Сплетенье пальцев — елочкой — с твоими.
Дверь, коридор, скрип лестниц, гардероб
обглоданный, пустынный. Гвоздь со связкой
ключей. Блужданье. Этажи. Кулисы.
Дверь. Поддалась. Открылась. Окна
во двор. И снег висит во сне и медлит
падать. Прильнет к стеклу и вновь
отпрянет.

Ты молчала,
подрагивая чуть и опустив глаза.
Я стягивал чехол с фортепиано,

стеля его у ног твоих, затем —
с виолончели, барабанов, труб,
кладя под голову, на корточках, спиной
к тебе, перед собою глядя —
как в россыпь догорающих углей —
туда, где мы, незримые еще,
невоплощенные лежали,
друг в друге догорая.

Ты стояла —
я чувствовал спиной —
без дома, без одежд, без кожи, вся светясь
в окне, оттуда глядя —
как зыбкий мел во тьме, —
озябшие к губам прижавши пальцы.

52.2

Хром моря. Скал оскал. Желток
звезды. Мы жили
меж раем и изгнаньем,
на черте.
Вмурованные в воздух
гнутый, плавкий,
две стеариновых фигурки —
жизнь к жизни
оплывающих.
Измор жары. Шатер
меж валунов растянут.
К ночи
он делал первый вдох,
сжимая нас внутри
и раздуваясь. Белый
ку-клуks-клан на стропах.
Шелк прохлады,
змеящийся под полог. Небо,
изъеденное дырами, как будто
там, за ним, — жаровня изумрудов.
Пошатывает ось. Ни звука. Золотой
летучий коготок,
из края в край вспоровший
над головой мерцающий испод.
Сощурясь,
ты загадала жизнь. Вторую.
С паруском,
трепещущим в груди
на повороте.

Кто ты —
рядом? Ни дочь, ни мать.
Жена? И грустно и легко.
Ни плоть, ни дух. Но что?
Покой и воля? Чудо

последней тишины
с дрожащими ресницами меж нами?
Равновесья
реликтовое чувство? Тот
исключенный третий,
когда двоим во все пути просторней,
чем одному? Тот случай,
когда вблизи один другому — даль
несметная? Вдали же друг от друга —
не близость, не разрыв, — размыв...

Откинут полог. Море — как земля:
лежит — рукою дотянуться,
за голову заведенной. Дельфины
сопят, пасутся. Годы
мне плыть в тебя. Как даль,
ты расступаешься:
чем ближе — дальше.

Глаза прикрыты. Голова
чуть запрокинута. Рука
заведена за голову. Другая —
в плечо мне впилась,
и влечет к себе, и разом
отталкивает. Годы.
Пустынный путь.
До времени.
До *ты*.

От темени до — жизнь спустя — рассветных
пят, восходящих надо мной по сторонам спины
плывущей; до — и выгиб твой растущий, к небу
меня вздымающий; до — жгучий жар,
в паху расколотый; до — рот,
в беззвучном крике круглящийся;
до — хлынувшая дрожь к ногам. И выдох —
до смерти длящийся,

до лепета в плечо, до непробудных
губ, до крыльев облетевших,
глаз заросших, тени,
от нас ползущей к морю
очнувшегося, до —

как бритвой полоснувшему меж век —
чужого дня,
из-за скалы косящего на нас:
на голый узелок,
лежащий в забвении, на голом
побережье.

Руку
ты на бедро мне положила, нежно сжала.
Сквозь сон я чувствовал твой острый ноготок.
— Ты кто? — Шепчу, не открывая глаз.
Сожмет, отпустит.
— Спи, милая. — Кольнет и чертит ноготком.
Как буквы. Длится.
Глаз приоткрыл. Нет, померещилось. И вновь
открыл. Прикусывая мягко, отпускает
и снова смотрит. Чайка.

Рукой взмахнул: — Иди!.. —
Отпрянула на шаг. Стоит,
пригнувши голову к земле, глядит,
и, медленно пожевывая клювом,
идет к воде вразвалку
и, обернувшись, на волну ложится;
плывет и за собою взгляд мой тянет —
как нить, —
от тмени до пят незримо распуская
скользящий узелок на ощупь свитых тел.

ФРАГМЕНТ 53

Он сидит в баре на окраине Мюнхена, рюмка водки,
дубовый стол, стертый, как день за окном с рюмкой в небе,
точнее, влажным ободком, оставшимся на столе, сейчас
принесут новую. Декабрь, хорошее имя для зверя, темнеет
рано.

Пуст бар. Свет, как снег, вдоль окон лежит, и по углам —
слежавшийся, тьму лет не перестилали. Бритая официантка
рюмку несет с блюдцем, на нем лимон нарезанный, при-
сыпать сахаром, чтоб она снизошла к нему и он в нее изо-
шел — кислотный король в сахарную королеву, чтобы впи-
лись они друг в друга: не семья, — любовники на просвет!
А чуть подержать под языком — и текут, как свет вдоль окон.

Серенькая наждачная голова, нулевочка. М.б., она ног-
ти затачивает об нее? Затачивает, лежа под Декабрем. Это
он ее брил десятью языками, Декабрил. Уходит, гунья ро-
мано-германская, а лица нет, не нарисовано. Спина ухо-
дит, как осень, неприветливо. А вместо ног — руки. Мо-
жет, она птица?

Три дня с той ночи. Три, как я, то есть он, в шляпке, не
смыкает глаз. Что предшествовало — может, знак какой?
Нет. День ныл, пошатываясь, как зуб — дальний нижний.
И выпал к ночи, осталась рытвина с уткнувшимся в нее
языком. Мысли? Нет, не помнит. Где-то за полчаса до —
да, курил на кухне, глядя в луну, думал: что ж за судьба та-
кая у этой Земли — живой, с голубым свеченьем, чтобы
вокруг нее белая мертвая голова кружила? Сестренка, да
еще и с таким лицом: губы разбиты, глаза запавшие, узень-
кий скользкий скат лба, и все круглое гладкое, светится,
как посмертная маска. С кокона. С Лао-дзы!

А потом что? Потом вышел, посмотрел на луну. Пуго-
вица, туго пришитая, до звона, к пустоте. И обруч вокруг
нее, обручальной, — радиусом вполнеба! Горит, белый, ли-
лейный, но свет от себя не отпускает, тьма внутри него та-
кая же, как и за его кругом. И от луны нет света — вовне.
Будто оба — и луна, и обруч — вдохнули свет, весь, в себя,

и не дышат. И тишь на земле — ветхая, чуть розоватая, слезится, помаргивая.

25 декабря 2004. Людей нет. Начало третьего. Нет ничего, что движется, кроме стрелки на часах. Дом напротив темен стоит, рождественские огоньки, приникшие к подоконникам, а за ними мебель поскрипывает, как кожа сброшенная. А что было здесь в 2004-м до Рождества? А в 666-м что было?

Вошел в кухню, взял амура белого, последний кусок. Съел. Амура, белотелого, как луна, косточки нитяные слюдяные девичьи — лежат на блюде. Как стрелы! Съел, и эрот вытер. Странно: амур, из русского магазина, в Мюнхене. Трансамур. Хейлунцзян — называют эту реку китайцы. А греки? Кардиолучник, брошенный мальчик, выbledок нелюбви. Соком запил, в яблочко.

Да, подумал, женщина она, отражатель, призма, нет у нее света — своего. Прибыль, убыль. Справа налево, слева направо. Серп, яйцо, серп. 28. Елена, в скобках. С.елена, закрывается. Зеркальце. Потому и смотрит в зеркальце — ся. Зеркальце в зеркальце, меж двумя, мужчину видит. И не выбраться ему — меж двумя. Двойня она, а он один; три — много, не выбраться. И вращается она, спутница, свет наматывая на себя, как сари, свет-мой-зеркальце. Два движет, трется три, — говорит Хлебников. А один лежит, не движим, подвигнут.

Вошел в комнату. Три без малого. Лег, взял Набокова, наугад открыл. Интервью некоему Филипу Оуксу. Дубу, то есть, в множественном числе. «...актерское мастерство за последние века приобрело невероятно утонченную способность изображать то, скажем, как человек ест, или восхитительно пьянеет, или ищет очки, или делает предложение. Совсем по-другому обстоит дело с изображением полового акта, которое вообще не имеет никакой традиции. И шведы, и мы должны начинать с нуля, и все, что я до сих пор видел на экране: прыщавое мужское плечо, фальшивые стоны блаженства, четыре или пять переплетенных ног, — все это примитивно, банально, условно и потому от-

вратительно». И в конце абзаца: «Это привлекательная тема для дальнейших размышлений».

Закрыв книгу и глаза. С тех пор картина, похоже, не изменилась. И вряд ли изменится. Почему? Потому что соить нельзя *сыграть*? Можно ведь и *прожить*, — да, но эффект будет, пожалуй, еще хуже. А, скажем, смерть с экрана передать можно? Да. А радость? Да, хотя и сложнее. Оно и понятно: чем светлей, тем сложнее. Ад зрим, крупнозернист, он — вот, свой, здесь. Рай — там, безымянен, невнятен. А соить — что? Легче всего сказать: тайна, и — «без дальнейших размышлений». Тайна, безучастная к соглядатаям. Нет у нее *стороны*, откуда можно было б ее видеть, войти в нее, двое там, и язык их непереволим. Для посторонних. По-ту-сторонних. Слова. Почему ж нельзя это показать без фальши? И какого рода невозможность этому сопережить — физическая? психическая? эстетическая? От головы вопрос, на три ноги хромающий. Потому что близость не делится ни на что, кроме самой себя. Не делится близостью. Потому что она (он) — моя (мой), и ничья больше. Близость не *экранит*, она сокровенна. Иначе — куклы на простынях, а бог в окно вышел.

То есть где-то около трех, начала четвертого. Встал, ТВ включил, листал программы. Четыре русских, пять украинских, за ними европейские — до семидесятой, потом черные страницы, без доступа, вперемеж с азиатскими, и за двухсотой — уж не поймешь чьи, он все листал, войдя в механичный ритм, глядя чуть в сторону от экрана — туда, куда бог вышел. Снег в окне шаткий и свет — слабенький, марганцовочный.

317, 321, 324... Стоп. Что это было? 323, 320, 317. Вот...

Лицо. Крупный план. Женщина. Смотрит ему в глаза. Молча. Голая шея, плечи. Бретельки на них тонкие черные. Ему кажется, он знает это платье ее вечернее. Черное, с тем чуть красноватым отливом, маревом, которое возникает, когда смотришь на яркое солнце сквозь прикрытые веки. Черное, облегающее ее худенькое льющееся тело. Нет, он никогда не видел ее.

Странные у нее глаза, тысячи лет он глядел в них, и не видел. Лицо чуть приподнято, тонкая текучая шея, и взгляд — чуть сощурилась, в него, как вдаль глядят. Легонькие светлые приречные волосы. Поднимает руку, отводит прядь, пальцы текут вниз.

В левом нижнем углу экрана — «TEST» написано. Этих пробных каналов десятка два-три он перелистывал, большей частью закрытых, без доступа.

Она видит его, видит комнату, скользит взглядом по книжным полкам, то он чуть впереди взглядом, то она, поджидая его с этой странной улыбкой, будто проснулась во сне, будто во сне не своем проснулась.

Она поднимает руку к губам, он не замечает, как повторяет ее движения, она возвращается, смотрит поверх него, сощурилась, прикусив губу — там, за пальцами, как бы забытыми на лице, как на отмели.

Он отводит взгляд к окну с этим серым за ним незрячим светом и возвращается взглядом к ней. А она все еще смотрит, скосив глаза, туда — вослед его взгляду, но окна не видит, оно за плечом ее, чуть в стороне.

Странно, будто ничего сверхъестественного, будто так все и быть должно. Будто все это уже написано — в *книге*, перелистываются страницы, без диалогов, они ведь от разьединенности, тут они ни к чему, только взгляд — глаза в глаза, и тишь, как до сотворения жизни.

Он роняет голову, кажется, на мгновенье забывшись, а когда открывает глаза: снежит — и экран, и за окном, день уж.

Виденье, — говорит он, вставая, разминая затекшую шею круговыми движениями, — перелетное. Так у Пушкина было в черновике, вычеркнул, мимолетное — написал. Как птицы, что ли? К югу на зиму, и назад, на насиженное, восвояси. Пере-недо-мимо-летное, да, виденье, так легче об этом думать.

Легче. Будто жизнь прошла, смерть прошла, взгляд остался. И губы — так близко, с этим защемленным светом меж ними, робким, предутренним.

Идет по городу, редкие островки — человек, трамвай, дом. Обрывок речи, немецкой, висит, с голоса, погас, след на снегу ведет за угол.

Парк, снег, деревья стоят под простынями, как памятники деревьям. День тих, гол, как щель, а в ней мышь, в блестяках. Они прогуливаются по дорожкам, по их лекалу, он и Т., бизнесмен, киевлянин, проездом здесь. Т. как вздыбленный дирижабль плывет, плавнички рук оттопырены по бокам. Он рядом с Т. — как линия карандашная — едва различим. Т., вразвалку идя, всякий раз задевает его боком, линия отклоняется и наводит себя заново. Т. рассказывает о революции, о майдане оранжевом, о миллионе людей апельсиновых у костров, о пузырчатой отравленной голове, плывущей над городом, о голубой елке до небес, как хвойной лестнице Иакова, воткнутой в этот глобус-цитрус. О маленьком Гоголе, сидящем под елкой с налившимся сном на носу. И снятся ему эскимосы в зеленых сари, и юрты из киви, и небо в алмазах, и маленький дождик с небес, красноватый. А потом панночка поворачивается другой щекой, и лишь одна — загадай желание — катится по щеке слезка кровавая и падает в горизонт, гаснет. И — светлеет во все края.

Т. рассказывает, раскачиваясь при ходьбе, оттирая его к обочине, он и слышит его, и не слышит. В этом городе он родился, рядом с майданом, в этом городе он прожил две трети жизни. Рай с адом склешились в памяти, не распепить.

Склешились, именно. Однажды, не так давно, он уже произнес это слово. Женщине. Говоря об их душах. Уже разойдясь, отдалившись — во всем, кроме душ. Иностранка, она поняла, о чем он, сжала его ладонь, легкие коготки, птичьи, отвела голову и дрожит, не взлететь ей. Беглянка она от мира, бежит, только бег на месте. Да и где бежит — в полосе света, спиной к приоткрытой двери, клинышек вставлен, чтоб не захлопнулась; вернись, отлежись и опять беги. Рукописи их ночей, александрийская библиотека, перламутровый пепел — живой, нечитаемый, мотыль-

ковый. Снег, пыльца, буквицы. Как в стекло бьется, скользит по стеклу лица.

Он идет в сторону дома. Трещина раскалывается под океаном, уже раскололась, как череп, там — за глазным его дном. Хлябь прогнулась и вздыбилась гребнем, и двинулась к северу, веером расходясь. 600 км в час — скорость. В тот час, когда он открыл глаза; экран снежило, и за окном. В тот час, когда в обруче стояла луна, как в меловом круге, трещина кроилась уже, жгла. И когда смотрели глаза в глаза, хлябь вскрылась, вскипев по шву. Серый поток, стелящийся, костлявый, с низкой холкой и желтою мутью глаз. Жгут. Жгут тела, свально, грудями, до заката. Где их теперь искать — пепел читать, прах, как по таблицам Брайля. 200 тысяч, он пытается представить себе, — это сколько? Он видит двухсоткилометровую шеренгу людей, взявшихся за руки, — мертвецов. Почему ж эти — мирные, травоядные, нищие солнцехлебы — в жертве? Почему — всегда — Авель?

Он идет по мосту через Изар, снег, тьма, тишь. Черноглазая девочка плывет на унесенной в океан двери, прижавшись щекой к ней, куда эта дверь? вниз, хлюп-хлюп, во все концы света, сейчас. Город, вечный город, в котором он умер и жил, в котором не зажигаются спички — сухие, с тугими головками серы, не загораются — никогда, город стоит у костров, на майдане, и небо над ним в апельсинах, сейчас. Он включает ТВ, задергивает занавеску, 312, 313, сейчас...

ФРАГМЕНТ 54

Событийно-восьмиконечное онаон приподнялось на выплетенном из пульсирующего узора женственном локотке, глядя: молнии шли гуськом, приседая, по кругу, центром которого было «езде» локотка, и особенно там, на вершине утеса, над морем.

Вспышка: пароксизмальный, жаром запекшийся, меркнувший шов; море вздувалось водянойкой под ним, стеклянея.

И (парафиновый оплывающий локоток поворачивался на оси) вздыбленной шерстью искрились бегущие холки холмов.

Задняя перебежка.

Как в отблесках красного выжываемый пинцетом из ванночки и удерживаемый на весу за уголок нежный глянец с проявляющимся изображеньем, так? — осьминожное чувство, переползающее себя, опираясь на подрагивающий локоток, этот люфт меж двумя, тахикардия разрядов.

Антропопунктура пространства.

Этот растровый путь от себя — неделимую дробью подобий.

Где ты, тень?

Здесь я, оборотень.

Выразимся яснее. Молнии образовали пляшущий замкнутый круг диаметром около 15 км. Центр круга — озаряемый отблесками полуразжатый кулак скалы над морем.

Молнии — каждая — как огненный баобаб — от звезды до земли.

Они шли по кругу, трощась, оседая, искрясь.

От 10 до 40 видимых стволов одновременно. Со средней частотой — 5 разрядов в секунду.

300 в час. 1150 за три с половиной часа.

В абсолютной тиши, без грома, без единой капли дождя. Над безлюдным ночным поселком.

«Локоток» принадлежал женщине, с которой я выбежал из трепетавшего в световых пароксизмах дома. На локотке над обрывом лежали две головы — ее и моя.

Утро. Ходил к кошемиру: лежит, мурлыка, млеет, коготки о гальку точит. А над ним солнышко — египтенок, дитя.

ФРАГМЕНТ 55

так ты светила без слов
вжимаясь в ладонь мою животом
и улыбка твоя подрагивала еще у губ моих пока ты
отойдя к краю поляны собирала падалку под яблоней
с милой неловкостью приседая и перебирая в траве
кажушимися маленькими как у кенгуру руками
и гасла у губ затмеваясь хлопочущей мыслью
об огне который я должен был и особенно в те
уже наступившие дни поддерживать непрерывно
чтоб успеть кинуть нож в кипящую воду
и вынуть его перед тем как ты
что? покачнешься и вскрикнешь?
осядешь завалишься на бок на спину? раздвинешь
колени? и что — моя голова меж коленей твоих
и пальцы твои скребущие землю обочь
и дальше как будто обрыв киноленты
горящий экран в темноте
трепыханье рубцов и царапин

знаешь
все чаще я думал
что человек в тебе был хуторком в стороне
едва различимой окраиной
в том смысле что я так не сразу тебя узнавал
чувствовал да но не помнил
ведь у живого нет очертаний сказала
ну да но не это
сказала чем меньше в нас человека
тем дальше он простирается
нет не количеством меньше
а плотностью тяжестью хваткой
время не вило гнездо в тебе вот что
просвет
то есть быть с тобой словно вдаль глядеть
уменьшаясь в перспективе

но чем дальше тем ближе ты
как слепцу на ощупь
эта рощица здешняя ты
не ты
озерцо в полпути к деревушке припавшей к морю

на илистой кромке темноругутного озера
солнце еще не взошло
ты стояла
в белой сорочке до пят ты стояла
ты не могла там стоять

ты там а я здесь выбегая из леса над озером
глядя как ты в своей белой сорочке до пят
и уже не до пят до воды до колен и по пояс
и перед собою разводишь ладонями гладь
и морщинишь ее серебро
я подхожу к тебе как не к тебе ты не слышишь
но будто бы чувствуешь все наперед
замираешь

ты ворох цветов от ступней до волос
белоснежных бутонов и листьев и стеблей
бутоны ложатся на воду
и длинные узкие листья как крылья ложатся
и стеблей извив и изгиб уходящий под воду
дрожит преломляясь колебля на бедрах охват
с оторочкой мутящейся илом воды
заплетаясь ко дну
ворожа в вязко-губчатой слизи
утопая вставая на цыпочки и семена
подымая со дна восходящие змейки цепочек
этот ворох цветочный в луче восходящего солнца
я держал обхвативши руками
отводя и вжимая в себя
и войдя в этот ритм волна
шла от берега к берегу

поначалу внахлест а потом
а потом и холмы и дорога и море вдали
все вошло в этот ритм вжимая
отводя и вжимая
я по пояс в воде ты до бедер и ноги твои
оплетают скользят по моим и слабеют и тонут
и снова всплывают плывут и их больше чем две
и какие из них не твои не мои
этот ворох размокший податливых бедер
отводя и вжимая не глядя в лицо твое тонет
всплывает открыты глаза как во сне
и стрекозы пытаются сесть на сосок-ходунок
то вперед то назад то под воду уходит клюет
и они висают над ним выжидая
янтарные очи
агатый прочерк за ними в стрекальной слюде
метнулись зигзагом исчезли
и островок живота твоего заливают внахлест
отводя и вжимая не глядя
как на слепящем на том берегу
на приутопленной вымостке гвоздиком гнутым
раскачивается рыбачок
вправо-влево и с вымосткой вместе
и с озером-берегом
вверх и вниз и вперед и назад отводя
ни жива ни мертва ты была и не ты и вжимая
я ладонью поддерживал спину твою под водой
не ладонь а вода
и скользила спина по ладони воды
к тому берегу вдаль но не тут-то а тут же обратно
это лодочкой тело цветов эта слепь белизны
солнце было в зените уже обжигая затылок и плечи
над тобой над твоим под водою лицом
где в глазах отражалось наврное небо
как небыль
как пыль слюдяная всех пришедших времен
всех прошедших и будущих не настоящих

казалось как до
твоей маленькой жизни и после
минуя ее отводя и вжимая
ты вся под водою вода запрокинув лицо
вжимая и волосы тонут на том берегу
еще — и коснулись его отводя возвращая
и путаясь льются назад затмевая клубясь по лицу
распрямляясь вдоль шеи и длятся и длятся
и тянутся к этому берегу и подо мной
лицо из воды проступает твое не твое
с такой безучастной улыбкой губ приоткрытых
которая — где? которая — в чем?
в развилке дороги? — отчасти
в том росчерке птицы? — на долю
в той тени скользнувшей к подбрюшью холма?
в воде ли в звезде в каждой воздуха складке
та линия губ чуть разомкнутых близких
близющихся
и безучастных

шли дни
а ты все низала грибы или хлеб выпекала
глядела в бинокль на рябь деревушки у моря
волнуясь меня ожидая ты там была здесь
отклоняясь к воде и на воду ложась от бедра
и назвать что творилось меж нами
что нами творилось
тем словом что в людях
о если б!
оттуда все то что имеет к нему отношенье
так далеко позади и внизу было как
стая притких рыбешек
затихших в траве
с оттопыренным ртом

а потом
уже солнце клонилось а это все длилось

не мы и не ворох цветочный лавина сходила
сгружаясь несметной своей белизной с того берега
не было берега озеро приподнялось выгибая края
и свернувшись как куль с точкой схода во мне
как лавина бесшумно змеясь от верховья
нарасталась сгружаясь в меня
ты
не я
ты в меня исходила своей белизной
слепотой
изнутри покрывая меня белым прахом
цветочную смертью

и потом то есть до
до восхода еще
до того как глаза под водой ты открыла
эти рыбины дрожи во тьме
в плавнях тела твоих
эта тьма ходуном
эта кожа твоя как затянутый бредень
это было еще и еще этот выгиб груди
как удар синусоидный тока сходящий
на нет твоей жизни на немь
на тебя поглотивший мерцающий морок

это было все до
поначалу еще как у всех а потом
все что жизнью звалось то что жизнью казалось
уступило отпрянуло нет отлегло
тихо так отстранилось
оголив и оставив от мира лишь ритм
голый ритм
к тебе от тебя
но не я
сквозь меня
как сквозь скважину ключ
как в промоину луч

не к тебе
как к воде отраженье

и ведь страшно сказать
видя этот распахнутый взгляд в никуда
из-под рвущейся пленки воды
видя этот безвольный разлет чуть табанящих рук
как поверить что мог я не думать что ты
этим ртом под водой приоткрытым
в безучастной улыбке
не дышишь
что ты не жива

но поверь я не думал не видел не слышал я не был
как впрочем наверно и ты не была
в том смысле что так не могло быть
имея в виду от рассвета к закату
имея в виду тормозок-озерцо
и эту как сцепку вагонную не между нами
меж чем-то и чем-то непостижимым и это
теряя из виду я не с тобой был и ты не во мне

и потом
когда мы расплетались
выпрастываясь друг из друга
не вышли на сушу не выползли вы — что?
не вымерли выжили на берег
как на ходулях дрожащих и на коленях
и в травы ничком и потом
когда месяц взошел над холмом и руками
мы наконец дотянулись до ты это я
и потом
все что было до этого дня между нами
с первой встречи и ночи
через голову этого дня перелезло
будто после случилось
будто первым был этот

когда с вещмешком на плече обернулся у края поляны
а ты в этом белом до пят сарафане
в одной руке низка грибов а другою прощалась со мной
до той ночи когда мы вернулись на ощупь
без тел без имен

а ту старую липу помнишь
как ее занесло туда поднебесную эту дылду
с симфонической кроной как ты о ней
по веревочной лесенке на нее забирались
там в верхах ее майских в охапках солнца
мы как два богомола на ветках сидя
покачивались едва касаясь лица друг друга
рукою той что была длиннее
перебирая нежно черты как будто
пряли эти черты и дрожь от ветки
меж ног зажатой в нас отдавалась
глаз в глаз глядели но краем глаза
ты влево голову отведя я вправо
и так сближаясь текли друг к другу
и жались жались к развилке клейкой
и снег цветочный с ветвей струился
пахучим светом к земле далекой
и чем он гуще валил под нами
тем мы казалось все выше выше

а потом ты завязывала эти разноцветные тряпочки
на ежевичном кусте а потом
когда там уже места живого не было
на смородиновом
эти узелки на память о наших ласках ласочках
в зубах ласточка уголек в зрачке напевала ты
завязывая тот очередной богомольно-липовый

а потом этот тоненький ниточный свист
как из небытия
ты его первой услышала

а потом этот тощий с подвывом ужаленный ветер
он вился по лесу и рылся у двери
и тиснулся в щели и рыскал в избе
и пепла остывшая горка взлетала
и оседала змеясь к нам
в ту ночь ты сказала и я не расслышал
что мы не одни

в ту ночь когда он шевельнулся в тебе и ты сжала
ладонь мою на полуслове и замерла
я не расслышал и ты не смогла повторить
и только смотрела в глаза мне так долго так близко
что милая что не расслышал не понял и ветер
обнюхивал пепел облизывал свечи
облапывал камень
и мёл по ногам из углов

а ты
ну как кто подскажи
все искала куда бы уткнуть его спрятать зарыть
все искала скользая по груди моей лбом и щекою
уткнуть и зарыть и унять его
это лицо свое ставшее вдруг как тебе показалось
двоиться
и первое то есть твое исчезать
а то проявляться и как бы из будущего наплывать
и все ближе и ближе уже за окном
и прильнув к нему видит
тебя подает тебе знаки и шепчет не видишь не слышишь
о чем ты?
в ладони беру твои мокрые щеки со шемью улыбки
ты плачешь беззвучно
я слышу родная моя
мы теперь не одни

снег выпал наутро ты помнишь
по первому снегу мы шли оставляя меж нами

ему это место
держа его за руки чуть наклоняясь к нему
так по саду знакомя водили
а потом ты на руки его мне дала
нас двоих обняла
и пошла к тем тряпичным кустам
припорошенным снегом
я смотрел на тебя в продувном на просвет свитерке
на холмы вдалеке зачехленные белым на море
со слепяще-чешуйчатой далью
и дрожа и качаясь и морщась от счастья
все глотал этот сладкий соленый комок
и глядел на тебя
и как дурень топтался на месте

а потом мы на нижнюю ветку той липы
подвесили виноградную люстру в три грозди
две лиловых с отливом агатовым
и одну бирюзово-зеленую
чуть припыленную золотом
помнишь
нашу вылазку на виноградники
там за озером я отвлекал на себя одноглазого пса
с бычьей шеей пригнутой к земле
и мокротно-клокочущим рыком
ты ж тем временем полный мешок набрала
подобравшись с другой стороны
и уже мне давала отмашки взойдя на пригорок
чудно по-матросски

часть улова ты предложила на время
обессмертить
сценарий был прост
трое в замкнутом мире как в замке
он огонь она воздух
третий плод четырех
двое гибнут являясь причиной смерти друг друга

третий в сон погружается
в летаргический сон

ты берешь трехлитровую банку
кладешь в нее грозди
и затеплив меж ними мизинчик свечи
тут же крышкой муруешь
и сощутив глаза сквозь стекло ты следишь
как он тянется вверх золотой язычок
упиваясь трепещет
и на цыпочки вставши сосет истончаясь
и никнет
озираясь дрожа и моргая
до слепоты

девять склепов один на другом у стены
пирамидой стояли до снега проснись
ты сказала и пой извлекая из банки
и той ленточкой белой льняной
приурочила к ветке
эту люстру глазастую мутно спросонок
чуть качалась над снегом над нами она
мы обнявшись танцуя под нею губами ловили
ты в объятьях моих на руках
запрокинув лицо и зажмурясь снежком порошило
ловить и оттягивать книзу тот винный
град небесный губами и отпускать его было
так сладко так дивно так горько ты помнишь
как выщипнув и поцелуем замкнув пузырек
немотного счастья щекочущий нёбо
мы препирались блажа языками дразня и катая
его то вперед то по краю назад
прижимая к щеке поддевая теряя лоя и давя
эту пленочку-вскользь эту жижицу-терпь
это семечко-слепь и потом
эта вдруг-пустота
с тем ослепшим во рту язычком огонька
и обглоданный воздух

весь февраль снег стоял выше окон
мы прорыли тоннель но почти что не выходили
чуть чадило в избе но хоть было тепло
и в растущем твоём животе чуть чудило
я любил его ухом живот твой и звал его *мы*
посреди тебя *мы* а повыше холмы
чтобы холить и нежить два знака упругих и мягких
омываемых тоненьким льющимся светом
чуть склоненной твоей головы
а под ним что? *мысок*
а под ним?
ты смеешься
подмышка
и сжав бедра
лицо защемив мое между
а это
мычу
это чум где *мы* спят
это *ы*
это *ят* уходящий в протяжное *ы*

ты только люби меня слышишь ты где
не выпускай из ладони как уголек
здесь а ты там ведь и кто ты и зеркальцем не
он зарастает спеши но куда
с нею в ладони открытой а я
пуговка света меж нами ты там
и не пришить ее не дотянуться висит
только люби ее ниточка ночи только люби

я очнулся во тьме обшаривая пустоту
тебя не было рядом
ты сидела за валуном раскачиваясь на корточках
и бормотала
в уже догоревший но еще пышущий жаром развал
ты сидела как беженка в отблесках
грузный баул живота прижимая

будто кто отнимал его у тебя
или хотел
ты в обхват прижимала к девичьей
меж ребер сквозящей худобе
к невидимым грудкам за локтем
и худеньким бедрам
согнувшись
на корточках
в отблесках
беженкой
ты
та что вчера еще за паруском живота
так безоглядно легко так и вольно
наполненным ветром едва попевала
только люби меня в панцирный крохкий развал
между коленей разведенных *только* осевший живот
ты бормотала *люби* перенес на лежанку укрыл
бредила *мы там уснули как люди как здесь*
вот и проснулись умолкла *ты там а я здесь*
и заметалась вдруг села ладони к лицу
ты
до людей до зверья до дождей до всего
шепчешь неслышно и дальше *вода и песок*
ты на спине на песке у воды и в ладони ладонь
девочки вздрогнула *спящей*
и ты
покачнулась глаза открываешь *ты где*
солнце так низко над вами их два и одно
два на одно наплывает два на одно
дно до огня до ножа до жилья до тебя
смотришь на руку свою вдоль руки на ладонь
чья
от ладони к лицу этой девочки
кто
рядом с тобой ты не помнишь не знаешь не верь
зеркальца нет там ощупал свободной лицо
ты или нет это кто она спит и ресницы дрожат

да померещилось нет не уверен улыбка ложишься глаза
узишь забыться вернуться еще тем же ходом пока
он не зарос этот сон и ты в нем как в тоннеле живом
сжался теснит зарастает но видишь еще этот свет
этот исколотый свет эта пуговка если отсюда она
боже
такой же как тот
оборвала упала на спину и вдруг это
ты
изменившимся голосом
есть?
я обнял твою бедную голову
ты вздохнула устало
а я

а потом вдруг так тихо стало
тихо так и светло
невесомо
и деревья будто покачивались на весу
и холмы и море
а мы все сидели с тобой на пороге
виском к виску
я к твоему
мотыльковому
глядя на это всё
щурясь на солнце в дымке
такое легкое что казалось оно плывет
удаляясь вверх
золотые колечки дыма
одно в другом
и так тихо так страшно тихо
выползала трава
птица ветку раскачивала разевая клюв
запрокинув голову
пела видимо
долго пела
до бесчувствия

это видно было по глазам ее
в двух шагах от тебя сидела
и орала беззвучно тебе в лицо
но не страшно еще
так как будто не с нами это
и еще так светло свежо так легко впереди
мы не видим не слышим не чуем
как ползут
эти белые рыхлые змеи с плато
вниз с плато
по отвесной стене за спиной
и сойдясь на поляне клубятся
поглощая деревья и землю и дом за спиной
вдруг ослепнув качнулся к тебе
и на ощупь порог
без тебя

туман расползлся редел
ты лежала без чувств только ноги
как незримая дрожь пробегала по всей их длине
будто чуть семенили я взгляд отводил
то к ступням
то к прикушенной с каплею крови губе
и по сторонам озирался и снова
туда на твой девичий сжавшийся впалый
и не верил глазам и казалось что это не ты
то есть ты то есть та
та которая прошлой весной раздвинула ветви
казалось
этот зрениа вывих отпустит вот-вот и пройдет

застонав ты глаза приоткрыла
глядя мимо и сквозь меня
села опустила лицо подняла
и чуть губы раздвинув едва шевельнув ими
где?

и потом
долго глядя в глаза мне
он
мертвый?

мертвый
ты повторила
глядя в сторону в землю
куда
и затихла
и искоса
где
ты зарыл его?
и выпрямляясь спиной вдоль стены
я хочу
опираясь на руку
помоги
подвернулась
его
и теряя сознание
видеть

не помню
как я перенес тебя в дом
я не помню что в доме
очнулся
тебя не было рядом
я вышел
смеркалось
ни звука
с тех пор

ФРАГМЕНТ 56

Это похоже на свет, не так ли?

Он говорит никому.

Это похоже на женщину, капитан. На женщину вниз по реке.

Как облупленным смехом, не так ли?

Даль со сбитой резьбой. Длинный вьющийся голос, постриги меня в, постриги меня вниз по реке.

Этот свет в парике, этот сонный затон, золотистая прель в парнике ее тела.

Говорит никому, на просвет, как иголка по крови. Блужда.

Это женщина меж единицей и двойкой, меж фигурой стены и фигурой, стоящей к стене на коленях.

Церебральные клювики света. Не так ли?

Капитан с окольцованной лапкой, горбатый гораблик, в голубином помете гора-плавунец.

День на мушке зенита, пустые кормушки теней.

ФРАГМЕНТ 57

Отойди в сторону, девочка, я попробую это сказать, думает он, я попытаюсь за нас двоих.

Нет нас двоих, эти слова не делятся на два. Видимо, нужно и мне отойти в сторону, освободить поле, пусть постоит под паром.

Не так близко, думает она, хоть немножечко пусть бы он отошел в сторону..

Где ж она, та сторона, думает он, следы повсюду. Те — сейцы, а эти — жгут.

Не клубок — колобок катится по лабиринту. Колобок-минотавр, в нем ты, обкатывайся.

Рудно тебе, дитя. Прекрасное — трудно, говорили твои ровесники. Красное дно, не утешись.

Дьявол к глазу прильнул; болен он, воин зренья, один в поле.

Трупно в груди, грудно. Рдеет, пыль из просветов прет, форточки мнутя, ласточки плинтус рвут — горлом, крича, как змеи.

Кровь в тебе, девочка, та же берложит, лапу в сердце обмакивает, смочет. Боже струится — бездонный еще — в зеркалах.

Отойди, говоришь. Отдели свет от тьмы, тьму от женщины, след от крови.

Был одним — заискрилось, стал другим — рассвело, вышел третий из двух — покачнулось, на пальцах повисло. Сколько нас по краям этой тайны — пойди обойди их, прижатых к себе, по карнизу.

Скользко нас по краям.

ФРАГМЕНТ 58

Сквозь щель в двери он видит ее. Она лежит в ванной, смуглые коленки сквозь золотистую пену, залитую ярким светом. Шелест тающих пузырьков. Лицо прикрыто распахнутой книгой. На обложке: Ален Роб-Грийе «Проект революции в Нью-Йорке». Держит левой рукой, узкая ладонь, длинные тонкие пальцы. Правая запястьем подложена под затылок, голова запрокинута.

В зазоре меж книгой и волнистой каймой пены напряженный изгиб шеи, у основания охваченный едва заметной нитью кругового шрама. Ниже, в горловой ложбинке, тающий пенный кристаллик, стекающий в испарину призрачного каньона, скорей предугадываемого, чем явленного.

Она читает. Ее голосу, порывистому, как свечное пламя на сквозняке, его мотыльковому трепету в незнакомом слове, как вверх по стеклу, в нетерпении сводя и разводя колени в уже истончившемся кружеве, сквозь которое проступает чуть выпяченный, он осторожно приоткрывает дверь, если б она вытянула во всю длину, распрямила свое баснословно текучее, выпростав на край ванны распаренные перламутровые ступни с узкими, в обхват большого и указательного, лодыжками, открыв еще неопушенный или с белесой порослью, нет, уже гладко выбритый, с чуть разомкнутой сомлевшею недотрогой, этой мнящей себя припухлостью, где — как матово-алый свет между сомкнутых пальцев, прикрывающих лампу..

Она читает. Ее голосу, колеблющемуся в этом ветвистом зазоре, лет двенадцать-четырнадцать.

Волосатая тварь, которую, видимо, особенно привлекают раны от семи кинжалов, воткнутых в самую нежную плоть в верхней части бедер и в паху вокруг смоляных курчавых волос, отличается столь крупными размерами, что, стоя на задних лапах на полу, ухитряется обследовать иссеченную тонкую кожу от промежности до пупка, где из-под широкого клокa легкой льняной ткани вновь выглядывает обнаженный живот, в этом месте оставшийся нетронутым. Именно

сюда крыса вонзает зубы и начинает затем поедать внутренности. Кажется, будто дрожь пробегает по телу жертвы, возможно, еще живой, и рот ее приоткрывается чуть больше.

Он слышит ее голос, представляя, как входит к ней, берет из ее рук книгу, рвет одну за другой страницы, засыпая ими поверхность воды, она опустила руки на дно и прикрыла глаза, колени раздвинуты, меж ними размокшая тяжелеющая страница, левым верхним углом уходящая вниз, вдоль внутренней линии бедра, страница 75, три верхние строчки еще сухие *будто глубоководная рыба застыла, наполовину спрятавшись в зарослях морской капусты, чуть шевеля плавниками, готовая внезапно сжаться в резких конвульсиях.* Другую, чуть скомканную, она прижимает к плечу подбородком. Длинные, будто наклеенные ресницы лукаво подрагивают; то ли буквы разглядывает, то ли следит за ним.

Он опускает левую руку в воду, колебля ее ладонью, как плавником, беря гущу страниц, приводя их в движение, ее живот дважды вздрагивает под его пальцами, скользнувшими от распаренного соска к межножью и, обогнув его запястьем, на ощупь протискивается в желобок меж ее вдруг сжавшимися ягодицами и шершавой эмалью дна.

Он помогает ей встать, наклоняет лицом к белой кафельной плитке стены, перешагивает к ней в воду, начинает обклеивать ее тело страницами — от колен и выше, надрывая бумагу так, чтоб, облекая, удерживалась в сложно-сочиненных изгибах тела — от ног к животу, и по кругу внахлест на груди, и полосками шириною в два пальца — на шее, и мельче — на подбородке, щеках, под глазами и, может, на левый, прищуренный, ближний к нему, — поверх.

Он нагибает ее, прижимается сзади, обхватив ее бедра, чувствуя тренье бумаги. И она привстает на цыпочках, выгибает спину, шумно втянув ноздрями, прерывисто выдыхая. Он возвращает ее в прежнее положение, прогибая.

Его ритм — вращающийся на бедрах обруч, она пытается вторить ему в обратном направлении, он удерживает

ее рукой, выхватывая взглядом обрывки фраз с ее спины, вначале молча, переходя на шепот, взрезаемый голосом.

Она, раскачивая запрокинутую к нему голову с убранным за уши влажным золотом, которое он только что еще удерживал в кулаке, оттягивая к себе, нет, вывернувшись, она вклинивается, заполняя лакуны его голоса, считывая с груди и ниже — с подрагивающих ног, вторя ему и чуть расплескивая этот ритм росчерком своего высокого легкого голоса.

Он: *...чтобы дать ей возможность уклоняться и извиваться...*

Она: *А Клавдия? Кто такая Клавдия? Почему была ликвидирована?*

Он: *...можно было бы тогда объяснить...*

Она: *...чья околососковая окружность...*

Он: *...использованием полых иголок Праваца...*

Она: *Так погибнут в день Революции негротянки с голубыми глазами... Обрыв...*

Он: *...но эти руки с изящными пальцами, кажется, принадлежат другому телу, ибо они тоже были вырваны с корнем, и волна крови, хлынувшей из подмышек...*

Она: *...будто выкрашена...*

То ли почувствовав его взгляд, то ли сквозенье дверной щели, она отводит книгу, открывая лицо. Лицу ее года на два меньше, чем, как казалось, голосу, телу: лет десять-двенадцать.

Подмигивает его глазу, неотрывно следящему за ее лицом, резким махом горсти по тонкой слюде обдает его брызгами. Он, отпрянув, врывается к ней. Она, хохоча, отбиваясь, погружается с головой. Он, перекинув ее через плечо, несет в комнату. Она, поджав ноги, упираясь коленями ему в живот, колотит ладонями по его спине. Он кладет ее на кровать, приваливая своим телом, трется щекой о ее лицо, вдруг отстраняется, вглядываясь, скользит взглядом к ее груди, к все еще вздрагивающему от смеха животу, и возвращается взглядом к лицу, как бы сверяя это дикорастущее вьющееся под ним с распущенными руками и пятка-

ми, оседлавшими его крестец, «там» тела и беззащитно-детское, прильнувшее к нему «здесь» лица с близоруко расплаханутыми глазами и кривящейся мольбой улыбки... Как бы штрихуя взглядом, переползая на животе, перебегая губами, перемаргивая ее и возвращаясь.

«Па...» — стонет она под ним, ввинчиваясь в него мокрыми теплыми бедрами. «Па...» — перехватывая руками, как поднимаются по веревочной лестнице. «Па...» — как опрокинутая птица, опираясь на крылья, запрокинув голову, падает и снова пытается дотянуться к его губам, тычась вслепую в его сморщенное старческое лицо...

Он стоит на коленях, склонившись над ней, просовывая пальцы под бледно-розовый, едва заметный шрам на ее шее и бережно стягивает с нее маску.

Она облизывает свои бескровно-змеиные губы, утирает испарину, распрямляет, оттягивая кожу на щеках, висках, встает, молча прикуривает, берет гребень, расшпиливает смоль своих рыжих, крашенных, подойдя к окну и повернувшись узкой голой спиной, долго расчесывает, глядя в окно, возвращается, берет с подушки съезжившуюся маску и, проведя гребнем по влажному золоту ее парика, вешает ее на гвоздь у двери — между маской женщины с властным, ярко окрашенным ртом и маской изъеденного шашелем морщин старика с лучащейся улыбкой.

ФРАГМЕНТ 59

Анна, она говорит и обводит кончиком языка губы, вот ее губы — повсюду, губы, плывущие на корабле к этому острову, губы, входящие в дом, губы в зеркале перед той галереей пустынной, скользящей вниз, исподволь, как сквозь ресницы за нею следящей, исподволь расплетающейся в подземелье.

Вот ее губы, прикушенные, и взгляд, озирающий стены, своды, надписями испещренные здесь и там, у приутопленных ламп — через каждые двадцать шагов бесшумных по серебристому ворсалину.

Иди, Анна, индиана, она говорит, ставя точку во лбу, и другую — горошиной в губы кладет, и накрест — от глаза до глаза.

Анна, третье лицо говорит, третьи руки прижав к животу третьей жизни.

Вторая — бродит по лабиринту, то приближаясь, то отдаляясь; их разговоры под гулками сводами в залах, в теснинах проходов, касания, губы и ноздри, и зыбь узнавания, и осыпь от горла до ребер, и сердцекруженье в груди.

Все тычась друг в друга, как нитка в иголку, все тычась и щурясь на свет, и мимо скользя, расходясь и теряя друг друга из виду.

Вторая и третья, а первая — до галереи, до этого странного полупрозрачного дома без окон, до этого трехэтажного студня с оплывшими башнями, мерцавшего на вершине холма, до заросшей тропы к нему, до распахнутой двери, но, наверное, после причалившего корабля; на тропе, на ее все мелеющих кольцах к вершине, во взгляде, словно бреднем затягивающем островной пейзаж с деревушкой, шоссе и вихляющим берегом, отороченным яхтенным частоколом и упругими лоскутками, белеющими вдали.

Как рыба вдоль сети, к центру, по кругу, она говорит, Анна, вдоль сети, вдоль взгляда на море, по кругу, к ловушке, к вершине холма.

Гудок, и корабль отчалил — с той, первой, вторая — вошла на крыльцо, в третьем лице говорит она, а число?

Ни дня, ни числа, коридорное время, развилки и ниши, третья жизнь. Вот вторая, зовет ее: — Анна...

Шаги приближаются. Где он? За поворотом. Она прячется в нишу, вот дверь, открывает, прикрыла, спиной прислонилась.

Он: — Аннушка, где ты? Нам нужно...

Мимо проходит, шаги затихают.

Не нужно. Сейчас. Не сейчас, Анна хочет одной быть, которая третья, на отшибе себя. Не вторую, которая с ним, с которой он ищет выход отсюда в обоих сцепившихся смыслах. Не сейчас, она шепчет, опускаясь на корточки, и, обхвативши колени, закрывает глаза.

Город, до корабля, город, где, похоже, она родилась, где, похоже, потому что ни матери, ни отца, просто город, окраина, свалка за нею, песчаный, как веником сметенный берег, пустынный, и хвойное море, точимое ветром, и море в пыли перламутра, и дом за забором под грузною тучей приваленным небом, и дети — по счету, гуськом — от дома до моря, и к дому, пружинные сетки железных кроватей и матовый свет ночника, и едкий дух хлорки от коридора к уборной, и одеяло, растущее вспять со стертým цветочным рисунком под зарешеченною луной, и вязкая боль внизу живота, и первая кровь, размазанная по простыне, и на левом бедре, на ладони, поднесенной к лицу во мглистой светающей дрожи, и дом, отбегающий от спины, и простыня, летящая вниз с обрыва, путаясь в крыльях, цепляясь за воздух, подранком, белою цаплей, и, распластавшись в воде, накатывает на берег, вздуваясь расплывшимся этим пятном.

Асфальт под босою ступней, и город к глазам подступает, к губам, обволакивая и разжимая их в первый, еще угловатый глоток первой жизни на долговязой, разболтанной улочке, вышедшей к порту.

— Анна, — доносится из-за двери, она открывает глаза. — Анна, — зовет он, шаги удаляются.

Бар в припортовом подвале, столик у дальней стены, в полумраке.

— Не занято? Можно?

Не отвечает. Не видно лица, только руки, разведенные разворотом газеты, только пальцы — мужские, большие, немного уставшие, не для газет.

— Так я присяду?

Не слышит, перелистывает страницу. Слева — бокал вина, красного.

— Я не надолго.

Уносит бокал за газету.

— Кофе, пожалуйста.

Бокал возвращается.

Официант: — Что-то еще?

— Нет, — она говорит, — спасибо.

Перелистывает, перстень на безымянном — змейка, волна ли, дабл ю? Вспыхнул, погас. Облачко дыма из-за газеты — как вишню жгут, а жар ворошат лапою можжевельной.

И вдруг голос его — оттуда, вязкий, низкий, видимо, чуть прикушенный, от мундштука:

— Она говорит с собой.

Это кому — ей? Или читает вслух?

— Она говорит с собой, не открывая лица.

Бокал исчезает и возвращается. Облачко дыма.

— Время, — он говорит, — зимнее имя сменить на летнее.

Перелистывает.

— Закройте глаза, — говорит, — держа открытыми.

Молчит. Долго молчит. И она все смотрит на пламя свечи, задуваемое ветерком, парусок в море, и голос его — то над волной, сверху, то снизу, из глубины.

И то, что он говорит, зажигает свечи вокруг нее, и свечи эти плывут и, круги сужая, застыт ее, верней, то, где была она, тело ее, то есть то, что охватывается неотрывной линией карандаша; долгое, девичье, простоволосое, мягким грифелем.

И не тело уже теперь, пламя — легкое и упругое, гнущееся к столу и выпрямляющееся, поправляющее рукой прядь над ухом, жарким, льнушим к жару его припорошенного снегом голоса:

— А теперь открой глаза, Анна.

Анна? Она не ослышалась? Он глядит ей в глаза, и она не отводит взгляд.

— Анна, — он повторяет, и приближает ладонь к ладони ее.

И она, глядя в его лицо, впервые смотрит в лицо свое, видя: губы свои, рождающиеся здесь, сейчас, глаза, ресницы, здесь, перед ним, и, опуская глаза от стыда, распалюющего ее щеки, оглаживающего ее шею и, раздваиваясь книзу на левое «да» и правое, как сквозь лед просасывая ее соцы новорожденные, выгибая спину ее в испарине, передрагивая от плеча к плечу, подгоняя каплю меж мальчишеских ее лопаток вниз, к ложбинке, щекочущей слух, слух, ставший кожей ее в каждом имени тела — от бесстыжих ступней, под столом вросших в пол и внутри себя семенящих, до коленок слабеющих и бессвязных, как приспущенные чулки, до поджилок дрожащих, до проступившей сквозь трепет на бедрах пыльцы, до жаркого влажного бога слепого, очнувшегося в животе, до бога клубочком в паху ее, бога живого, что тычется там изнутри, и тужится вверх, и нижется к сердцу, и щиплет его, обхватив, обмякая и разливаясь по телу, и снова, свернувшись клубком, техкает, как нарывает.

Нет ни стола, ни газеты, ни бара, города нет: стул в беззвездном течении, на стуле она, и ладонь его крепко, до боли, прижата к губам ее, или это она прижимает ладонь его, чтоб не кричать, не кричать, целовать, не молчать, повторять его имя, щемить между пальцев: *Ма...* — и кошачье: — *ксс...*

Ма... — разжимая губами, и скрещивать: — *икс...*

— Макс!

И он сквозь ладонь свою, губы ее задувая меж пальцев:

— Анна...

Город входил в себя ощупью, шурясь от света с расхристанным по сторонам горизонтом.

Она все сидит на корточках, привалившись спиной к двери, скользит рассеянным взглядом по книжным пол-

кам, чувствуя нарастающий голод. Кухня — третья развилка отсюда, берет наугад книгу, наугад открывает.

«Два тела не могут в одно и то же время занимать одно и то же место».

Подходит к двери, прислушивается, приоткрывает, выглядывает, идет по теневой стороне, в опущенной руке книга, раскрытая на той же странице, входит в кухню, берет печенье, открывает консервы, наливает стакан вина, не глядя, какие консервы, какое вино, ест, утирая слезы тылом ладони с двоящейся, расплывающейся меж пальцев вилок.

Не выбраться ей отсюда, что она может, должна, хочет, кто он, скользкий по коридорам, зовущий ее: — Анна, Анна...

Кто она, Анна, ему, ей, была, есть, где — здесь, заживо, здесь, сейчас, ставшее там, всегда, там-Анна, там-он, там-жизнь, за здорово живешь, нет окон, у смерти нет окон. Бог — Смерть, Бог-смерть, а как иначе, иначе и не представить, и не принять, что, мол, вот, есть Бог, и он — всё, вся полнота, и в какой-то миг, вдруг, он создает мир, значит, что — была полнота не вся? И в какой это миг, почему в тот, именно, и почему — мир? Почему из себя вон, и от там к здесь, что же здесь «хорошо»? Мир, творимый по образу и подобию? Бог-двойник? Голем Божий? Что «хорошо» — репродукция? Нет, это смерть его — мир, миг его смерти. Так — претворением в мир — Бог умирает, дух испускает, гибнет. Миг ему; мир нам и небо времен проливных. Вот вам тело мое...

Она вздрагивает, ладонь ложится на ее плечо, оборачивается: он.

— Анна, — он говорит без голоса, наклоняя к ней голову.

Высвобождаясь, она пятится к двери, слезы еще текут по щекам, нет, прошу тебя, нет, не сейчас, исчезает за дверью и, пятясь, скользит вдоль стены, в одной руке вилка, в другой — книга, скрывается за поворотом, тупик, лестница вниз, винтовая, спускается.

Крохотный голый зал, на разноцветных нитях подвешены колокольчики, маленькие и побольше, гроздьями. По периметру пола — парафиновые младенцы с фитиль-

ками на темени, будды. На колокольчиках выгравированы слова — на каждом по одному. Она находит «она» рядом с «меня», рядом с «кровь», рядом с «два», рядом с «не».

Не трогает, опускается на пол, стекает, как капля, стекающая по стеклу, по самой ли себе, затуманенному осколку, не дышать ей окошко лица, и ни взять и ни дать, эти бусинки крови, этот кролик стекла врассыпную, она перелглатывает комок и обводит очнувшимся взглядом эти сальные слюдяные улыбки на заплывших парафиновых лицах с блаженно прикрытыми веками.

Ее поташнивает, она опускает взгляд на книгу, перелистывает.

«Тело может «проникнуть» в разомкнутость другого тела, только его убивая (отсюда бедность сексуальной лексики, которая — ».

Ее мутит все сильнее, строчки плывут, подворачиваясь и выгибаясь, она еще видит последнюю на странице:

«Любовь — это прикосновение разомкнутого», ее стащивает на пол, она утирает губы, оттягивая вниз и в сторону эту липкую резинку слюны, пережимая губами, пальцами, путаясь в ней, сплевывая, озираясь заволоченным взглядом, вставая, идя, перебирая руками перила, и дальше, по коридору, лицом к стене, перебирая руками, господи, говоря, господи, выведи, выведи или умри эту девочку, эту душу из тела, если ты здесь, перебирая руками, щекою скользя по стене, если Ты-коридоры, Ты-воздух, Ты-лампы, Ты-Анна, Ты-он-меня-ищет, Ты-кто-он? Ты-дни-здесь-и-ночи, Ты-если, Ты-если-Ты-есть... Божечки, шепчет она, стуча по стене ладонью, миленький, слышишь, возьми ее за руку, выведи, выведи, уведи...

Она опускается на пол, еще бормоча и вздрагивая, сворачиваясь клубком, не закрывая глаз.

Город входил в себя ошупью, шурясь от света, как по слогам повторяя себя, то есть того, кем он был до этой ночи, как по слогам за ночь утраченного языка, искоса глядя на них, поравнявшись, и забегая вперед, и стелясь по пятам, город входил в них, шурясь от света, ошупью между губами его и ее.

Шли дни, а точнее, стояли, как солнце в зените, и тень возникла лишь там, где они не касались земли; так жили, на стеблях затменя танцую.

Она прикрывает глаза, видит камнем мощенную улочку и облуженный дом с терракотовой черепицей, и под крышей окно, и под дверью письмо.

Ей — впервые — письмо: от отца.

Он не знал, был проездом, снял номер в том же отеле, она была горничной, имя не помнит, ему было тридцать, ей — лет семнадцать на вид, лишь руки — это запомнилось — чуть ли не вдвое старше лица. Ночь, он наутро уехал, она умерла, как сказала хозяйка, при родах. Номер двадцать шестой, мало что изменилось, та же кровать, тот же стол у окна. Третий год ее ищет. Она, как сказала хозяйка, перед смертью имя дала ей свое, а фамилию — имя мужчины, того. Лео, кажется. Да, Анна Лео. Вот, собственно, все, что она рассказала. Теперь и ее уже нет. Дом сгорел. Сбирался купить, опоздал. Он один, он теперь не один, он живет с этой мыслью о ней неразлучно, с тех пор как узнал. Всякий раз, когда имя слышит свое или пишет его, словно пальцы защемлены дверью — он не чувствует слов, он не знает, как с ней говорить... Он искал, описание того, как нашел, как под дверью ее ночевал. Через час у него самолет. Он богат, по наследству, отец, то есть дед ее, дед...

Роняет письмо, закрывает глаза, уже вечер, в окнах дома напротив зажигается свет.

Она видит его, этот свет, сквозь прикрытые веки в дрожаньи ресниц, она слышит шаги, скрип ступеней, приближаются к двери, звонок... И прикушенный, вязко-взволнованный голос:

— Анна, что-то случилось? Открой же!

И телом обмякшим, стелящимся к двери, рванувши ее, распахнувши, и в грудь ему ткнувшись — лицом, еще не своим, но уже приходящим в себя:

— Макс...

Он подхватил ее на руки, тело ее — невесомую струйку бездомного ветра, тело ее, эту зыбкую раду, в комнату

внес, опустил на кровать, где мерцать, исчезать и сплетаться руками, не чувствуя, чьи это пальцы ворожат по губам: *манна, онна...*

Она движется по коридору, то спиной вперед, то вращаясь вокруг оси, вынудив из нее, расплетаясь и втягиваясь в себя, и выпрастываясь и свиваясь, как свечное пламя меж ладоней сводчатого коридора, меж ладоней его шершавых, теснящих ее и вновь расходящихся, меж ладоней его, медлящих на развилках, передавая ее из рук в руки.

Врач он, врач, не практикующий, пишущий, дом у него, островок в океане. Она, его дочь, всё, что есть у него, всё, что будет. Чек в конверте, билет на корабль и адрес с рисунком. В субботу. «Нет» — он придет седьмого. И просит прощенья, и очень надеется, ждет, чтобы «да».

Макс на причале, машет рукой ей, она на корме, отплывает, верхняя палуба, ночь, звездный жар вороша ветром, задувает к утру серебристо-разрыхленным пеплом, и солнце растет из тумана.

Она у окна, в ресторане, одна, она обессилела за ночь, в шезлонге, под пледом, не спать, отплывать от себя на спине, на боку, животе и тонуть, и тонуть, опускаясь на теплое топкое дно этой крови, погружаясь в нее, в эту вязко-кошачье-густую урчащую топь, в это мшисто-мурлычное тренье извилов ее и топтанье с поддегом ее коготков, в это льнущее мленье крови, в эту душную кровную нежность у горла, у губ.

Официант подошел, она видит, что он говорит, но не слышит, сел напротив, взял за руку, она смотрит в него, сквозь него, он не видит, что она говорит, это вяжется кровь и густеет, ты только расслабься, там, на дне, и хватает тебя, как цемент, это кровь с двойным дном, эти фрикции рта ее, усики, пальцы и поры, этот корень ее кроветворный, сам сосущий себя, эти пленочки радужных оболочек, эти липкие полуслепые пупки, эти клейкие завязи на венозных ветвях, этот розово-алый до буро-багрового шрам откровения крова, покрова родства, этот кровный, запекшийся храм на крови, *nana...*

Она разжимает губы в это — какое? родное? бездонное? нежное? чуждое? — слово, которое тело, которое чувство, которое вот, на губах, без движенья, без звука, еще до рождения, до света...

Как глину, он мнет ее в чутких горячих ладонях, он лепит, вращает ее, истончает, растит, омывает и греет, и гладит и греет, лелеет-голубит, и любит и жалит, и жжет-бережет...

Официант говорит, эта прорезь-щербинка между передними верхними, вздернутый носик и глазки-салазки, между передними, высвобождает ладонь.

Чуть покачивает, скользкая палуба, валкий туман.

Она поднимается по меловым, все мелеющим кольцам тропы на тугую вершину холма, закрученного, как чалма до бровей, деревушки внизу, и огней, озаряющих пелену.

Дверь была приоткрыта, она входит, идет, ни души, галерея, ведущая к лифту, лифт, две клавиши: выход и вход, она нажимает, спускается, долго, бесшумно, выходит, коридор, поворот, коридор и тупик, она озирается, кнопка на левой стене, нажимает, стена раздвигается, входит, сомкнулась за ней, коридор, яркий свет впереди, приближается, зал, у дальней стены, за фонтаном, в кресле, вполборота к ней, с книгой в руке, она вскрикнула:

— Макс?!

Он встает, он идет к ней.

— Как ты здесь оказался? Зачем?

Обнимает ее, она трется о грудь его лбом и щекой.

— Анна, — шепчет он, — дочь...

Она замирает, отстраняется медленно, глядя в лицо ему:

— Ты?

Он улыбается, делает шаг к ней, она отшатнулась и пятится:

— Макс...

Он не понимает, он делает вид, что немного смущен и растерян, он головою качает с застывшей улыбкой, он движется к ней:

— Анна...

Она упирается в стену спиной, она выставляет ладони:
— Нет.

Он, приблизившись, смотрит — то на ладони ее, то в глаза.

— Нет, Макс, ты шутишь, — спиною скользит вдоль стены к коридору.

— Аннушка, — он за нею идет, — что с тобой? Чей это дом? Что за Макс?

Она пятится, не сводя с него глаз:

— Ты, Макс...

Он головою качает:

— Я Леонид, я твой отец...

Поворот коридора, голос его:

— Что происходит? Какой еще Макс?

Приближается:

— Аннушка, дочка, да что в самом деле... постой.

Поворот коридора, развилка.

— Я ехал сюда, так надеюсь, письмо твое — вот, — достает из кармана, читает: «родной мой, мой...».

— Макс, — у нее дрожат губы. — Макс, прекрати...

— Лео, — он говорит, — меня зовут Лео, — тычет пальцем в конверт, — что это — розыгрыш? Это твое письмо? Ты, — поворот коридора, — ты Анна? Ты моя дочь?

Она открывает глаза, прислушивается, он зовет ее издалека:

— Анна... Анна...

Встает и идет, удаляясь от голоса, чувствуя кровь, вспять по венам текущую, чувствуя кровь на ладонях, губах, чувствуя, как — шаг за шагом и за развилкой развилка — она сходит с ума.

Макс, она загибает палец, нет никакого Лео.

Макс, она загибает второй, и Лео, который есть, но нет здесь.

Макс, загибает третий, — Лео.

Макс — мой отец.

Макс, она чувствует кровь, сгустки крови, как рыбы мальки, сдавленные в кулаке, и Лео, она щурит глаза, — двойники.

Разгибает и вновь загибает.

Если он Лео, действительно Лео, кто написал эти письма — мне и ему?

Он, говорит, ей письмо не писал, от нее получил в понедельник, во вторник — сел на корабль, с вечера пятницы — здесь.

Если он Лео.

Если отец.

Лео или отец.

Может, и не отец. Просто Лео.

Лео и Макс, почему бы и нет?

Макс написал, почему бы и нет?

Я люблю Макса. Он мой. Он мой отец.

Лео их написал, эти письма, Макс и мне.

Максу и Лео, и ей. Кто-то третий, то есть четвертый. Не Лео, не Анна, не Макс.

Анна хочет домой.

Анна хочет кораблик, Анна хочет часы.

Без пятнадцати час. Ночи? Дня?

Он надеется выбраться. Он ищет выход. Он ищет Анну. Он ищет вход. Вход через Анну. Анна — отец.

Он ей не выход. Она молодец.

Анна, доченька, любушка, Аннушка, встань. Мы найдем его, выход, он говорит.

Он не знает, он говорит, никакого Макса. Нет, говорит, у него никакого братика-близнеца.

Когда выйдем, он говорит, это просто — анализ крови, когда выйдем отсюда.

Отсюда, она говорит, к зеркалу подходя, он за нею стоит, они смотрят друг в друга, отсюда — куда?

Анна знает — куда. Руки накрест на бедра и свитерок к голове задирает, выскальзывая. Анна знает — куда; руки знают, как растегнуть, как их снять, ноги знают — всей длиною своей белизны, всею дрожью меж левой и правой, прижатых друг к другу, — как стоять босиком, Анна знает — отсюда, от сведенных косо лопаток, отсюда, от заведенных за спину рук, от застежки упрямой — туда, вниз по

хижине легкой, волнисто-ребристой, обтянутой полупрозрачною кожей с зашедшимся маленьким сердцем во тьме, вот отсюда — туда, к равнобедренным трусикам льна, к равноденствию бедер, к этой ранке сосущей, к этой глотке, беззвучно сквозящей, к чудотворному шраму стыда, к этой божьей берложке без бога, к слову, ставшему плотью и слизью, к безъязыкому рту, к этой щели родства. Анна знает — куда: вот отсюда, от тела, от крови, от живота — им в лицо — эти руки и пальцы, и ребра и локти, колени и губы — в лицо им; ему и ему.

Анна знает, что делать, Анна выплеснуть-ся, разметать, разорвать, Анна — рваная рана меж ними, и рана и губка, Анна их утолить, распалить, расслоить, распознать, оголить, Анна рыбку ловить на живца, она знает, что делать, она вьется живцом меж отцом и любцом, Анна бьется лицом в рукопашное дно своей крови; анаграмма, кольцо, разомкнуть, Анна вывести их из себя и ввести в свое тело, Анна хлеб и вино, Анна дать им вкусить, Анна — кус, Анна — псам, Анна — куст, она неопалима, Анна — огненный танец креста, меж огней, меж о ней, Анна — шов и межа, Анна — женщина, на — , Анна — ма... Анна — ксс... А в ней — кто? Боженька в ней, воскресенье. Кто в Аннушке-домике свет зажег? Боженька, воскресенье. А кто в домике этом живет? Боженька с Аннушкой, Он и устроил все это, и письмо написал, и кораблик, и за руку взял ее и привел сюда, Аннушку, жить. Это Аннушка-жить-не-тужить, и затеплил Себя. Вот отсюда, она опускается на пол и прячет лицо меж коленей, — туда.

ФРАГМЕНТ 60

Сотри эту лунную ветхость калитки,
по штакетидам мягко ведя сверху вниз,
скрип задвижки, улитку на ней,
и тропинку в глубь мокрого сада,
и лошадь, сосущую воду, и желоб,
дрожь по холке, худые с отливом бока,
и — тихий испуг ее исчезновенья.

Вернись. Глаз моргает ее на ветру
(красная охра прожилок слезится,
и выше — ресничек пучок). Вытри.

Возьми отношения: память о лошади
и оседающий глиняный дом.
Чистая длительность и протяженность.
Вытри крест-накрест. Еще.
Свет из окна на тяжелую гнутую
яблони ветвь. Плоды. Покачнулась
тень от нее на крыльце и ступень
под ногою. Вытри.

Дверь в шелушащейся оспе,
и в глубине — изразцовая печь,
оползень жара, колкий рубин —
выпал, мигает, шипит на железном
поддоне. Вытри.

Зеркало. В зеркале — угол стола
и кровать. Человек на кровати: ступни
в зернах песка; выгнулся, опираясь на руки,
струйка пота стекает вдоль позвоночника,
блики, бритый затылок. Вытри.

Начни под лопаткой: ребра, сердце, сосок;
и под ним, в этой скважине, видишь —
она (ее родинка между грудей).

Вытри спину его! (Муравей,
чуть придавленный их животами,
захромав, уползает к бедру.)

Вытри руки ее, обхватившие пустоту,
вытри чувство утраты. (Веки прикрыты,
губы дрожат. Вытри верхнюю, нижнюю,
вытри дыханье, вращеньем, до точки
сужая круги.) Вытри всю!

И под нею — горячую смятую простыню,
и под нею — матрац полосатый,
пружинную сетку и крохотных ангелов,
вниз головою глядящих во тьму,
и под ними — на липком холодном полу —
присевших на корточки, за руки взявшихся
бесов, их волосатые спины
в отблесках жара, их хоровод. Вытри.

Пол, и трухлявые лаги, и погреб, и визг
взвившейся крысы, подгнивший картофель,
морковь и бутылки с вишнежкой; за ними,
в углу, два скелета сплетенных, лежащих
один на другом: сквозь паутину
чуть светятся, как голубой парафин.

Изморось. Выйди. Светает. Птица
вспорхнула. Вытри. Нет, впереди ее тела,
с опережением. Так.
И скажи: хорошо!

И сотри пустоту.

И за ней — скрип калитки,
улитку на ржавом засове...

ФРАГМЕНТ 60.1

Сыпья, черный песочек.
Жизнь ничего не понимает.
В глазах темнеет.
Для совы — светлеет.
Кротам лафа.

Сыпья, черный цветочек,
никто тебе не указ.
Грязь — это зеленый,
смешанный с голубым
и прочим.

Я говорю:
когда я тебя целую —
идут ко дну алфавиты.

Альфа ли вита?
Вита ли альфа?

Оранжевый с голубым —
дым.

Сергей Соловьев

ФРАГМЕНТЫ БЛИЗОСТИ

Оформление обложки *А. Песнин*

Верстка *С. Чоренький*

Корректор *З. Колеченко*

Подписано в печать 11.12.06. Формат 84×90^{1/32}

Тираж 3000 экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение

№ 77.99.02.953.Д.006738.10.05 от 18.10.2005 г.

ООО «СТС Пресс»

115093, Москва, Партийный переулок, 1

Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

www.geleos.ru

Издательская лицензия № 065489 от 31 декабря 1997 г.

ЗАО «Читатель»

115093, Москва, Партийный переулок, 1

Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

**ПО ВОПРОСАМ ОПТОВОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ ПОКУПКИ КНИГ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:**

Москва:

ЗАО «Читатель»
(отдел реализации издательства)
115093, г. Москва,
Партийный пер., д.1
тел.: (495) 785-02-39,
факс (495) 951-89-72
e-mail: zakaz@geleos.ru
Internet: <http://www.geleos.ru>

Воронеж:

ООО «Амиталь»
394021, г. Воронеж,
ул. Грибоедова, 7а
тел.: (4732) 26-77-77
e-mail: mail@amital.ru

Казань:

ООО «ТД «Аист-Пресс»
420132, Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. 7-я Кадышевская, д.9б,
тел.: (843) 525-55-40, 525-52-14
e-mail: sp@aistpress.com

Краснодар:

ЗАО «Когорта»
350033, г. Краснодар,
ул. Ленина, 101
тел.: (8612) 62-54-97,
факс (8612) 62-20-11
e-mail: kogorta@internet.kuban.ru

Пермь:

ООО «Лира-2»
614036, г. Пермь, ул. Леонова, 10а
тел.: (3422) 26-66-91,
факс (3422) 26-44-10
e-mail: lira2@permonline.ru

Ростов-на-Дону:

ООО «Сеть книжных магазинов
«Магистр»
344006, г. Ростов-на-Дону,
пр. 1-й Машиностроительный, 11
тел.: (863) 266-28-74,
факс (863) 263-53-31
e-mail: magistr@aanet.ru
Internet: <http://www.booka.ru>

Санкт-Петербург:

ООО «Северо-Западное
книготорговое объединение»
192029, г. Санкт-Петербург,
пр-т Обуховской обороны, д. 84
тел.: (812) 365-46-04, 365-46-03
e-mail: books@szko.sp.ru

Самара:

Книготорговая фирма «Чакона»
443030, г. Самара, ул. Чкалова, 100
тел.: (8462) 42-96-28,
факс (8462) 42-96-29
e-mail: commdir@chaconne.ru
Internet: <http://www.chaconnre.ru>

Уфа:

ООО ПКП «Азия»
450077, г. Уфа, ул. Гоголя, д.36
тел.: (3472)50-39-00,
факс (3472) 51-85-44
e-mail: asiaufa@ufanet.ru

Украина:

Книготорговая фирма «Визарди»
г. Киев, ул. Вербовая, д. 17, оф. 31
тел.: 8-10-38 (044) 247-42-65,
247-74-26
e-mail: wizardy@inbox.ru

Беларусь:

ТД «Книжный»
г. Минск, пер. Козлова, д. 7в
тел.: 8-10-375-(17) 294-64-64,
299-07-85
e-mail: td-book@mail.ru

Израиль:

Р.О.В. 2462, Ha-Sadna st., 6,
Kefar-Sava, 44424, Israel
тел.: 8-10 (972) 766-88-43, 766-55-24
e-mail: michael@sputnic-books.com

**Книги издательства «Гелеос»
в Европе:**

«Fa. Atlant». D-76185 Karlsruhe
тел.: +49(0) 721-183-12-12,
721-183-12-13
факс: +49(0) 721-183 12 14
e-mail: atlant.book@t-online.de
Internet: <http://www.atlant-shop.com>